## Один из многих

Автор: *Григорьев А.*

Эпизод первый

ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИНЫ

- Savez-vous qu'est се que c'est

que la vertu?

- La vertu c'est le front d'airain.

Correspondance inedite. {\*}

{\* - Знаете ли вы, что такое добродетель?

- Добродетель это лик из бронзы.

Неизданная переписка (франц.).}

В саду Кушелева-Безбородко {1} играл оркестр Германа, {2} старого, но вечно живого Германа, которого Гунгль вытеснил из Павловска. Народу было очень много, тем больше, что вечер стоял чудесный. По обыкновению, было больше охотников слушать музыку даром, т. е. за оградой, нежели в пределах ограды; впрочем, народ этот принадлежал или к обыкновенным жителям дачи, или к обыкновенным фланерам петербургским, которые садятся на Невском в первый свободный дилижанс и едут куда попало; в этом есть очень много наслаждения, которое, не знаю, испытали ли мои читатели.

Было уже восемь часов. Раздался оглушительный и неприятный крик огромного насекомого, которое зовут дилижансом.

Дверь ограды отворилась и оттуда вышел человек. При появлении этого человека одна из гувернанток, которых всегда так много на дачах, высокая, длинная и худая, приставила к глазу лорнетку. Ее примеру последовала и другая, низенькая и довольно толстая, с которой любезничал какой-то поручик.

Только, впрочем, и было замечательного при выходе из ограды этого человека.

Одна из гувернанток скоро обратилась с лорнетом в другую сторону, другая заметила сквозь зубы:

- On le voit tres-sauvent. {- Его часто видать (франц.).}

- C'est un habitue, {- Это завсегдатай (франц.).} - подхватил офицер.

Разговор тем и кончился.

Человек, который вышел из-за ограды, вероятно на призыв дилижанса, был довольно высок ростом и одет очень изящно, хотя немного странно, немного эксцентрически. На нем был черный бархатный однобортный сюртук, застегнутый почти доверху, небрежно повязанный легкий шелковый платок с большими отложными воротничками; черные перчатки обтягивали его до невероятности маленькую руку; в правой была у него палка огромной величины с искусно вырезанным черепом из слоновой кости вместо ручки. Черная бархатная фуражка без козырька, густая черная борода, довольно живописно падавшая на голландскую рубашку, и гладко остриженные волосы придавали ему какой-то особенный, оригинальный вид. В его физиономии, очень выразительной, не было ничего особенно неприятного, но бледные, тонкие губы, сжатые в вечную улыбку, но что-то слишком дерзкое в выражении больших черных глаз возбуждали чувство невольной антипатии во всем петербургском народонаселении, так привыкшем к уровню однообразных вицмундирных физиономий, так искренно неприязненном всему, что смеет носить печать какого-либо нравственного превосходства. Увы, таковы все мы от первого до последнего; во всяком немного выдающемся выражении физиономии, во всяком непозволительно резком очертании профиля мы готовы видеть всегда что-то зловещее, что-то враждебное нам, чадам посредственности; мы хотим непременно уровня, хотя бы уровня безобразия.

Человек в черном бархатном сюртуке пошел действительно к месту отправления дилижансов.

Когда он пришел туда, места были уже почти все заняты, и на остальные было множество претендентов.

Но он вынул из бокового кармана сюртука билет и, показавши его кондуктору, беспрепятственно вступил на подножку.

Пробираться к месту было ему, кажется, довольно трудно, потому что места были заняты дамами или почтенными чиновниками, которых физическая оболочка любит, как известно, простор.

Наконец он пробрался в самый угол и сел, не обращая ни на кого особенного внимания. Он два раза зевнул, сжал губы с особенно неприятным чувством и обратился к окну.

Я сказал, что в дилижансе сидели все чиновники и дамы, вероятно, супруги или дочки чиновников, как можно было предполагать по выражению лица, по цвету глаз, по форменным очертаниям профилей.

Все это были добродетельные матери и верные супруги, настоящие или будущие.

Но подле моего незнакомца сидели мужчина и женщина, по-видимому, не принадлежавшие к чиновному люду.

Мужчине было лет 28; его лицо, чрезвычайно свежее и нежное, было благородно и открыто, в голубых глазах светилось много добродушия и ума; вообще он был бы чудно хорош, если б был женщиной, ибо тогда не так ярко выступала бы дюжинность, повседневность его природы. Одет он был очень порядочно и просто, хотя уже слишком изысканно просто, слишком, так сказать, по-московски просто, именно по-московски - другого слова я не придумаю для этой заезжей простоты, которой порядочное, почти аристократическое чувство запрещает брать пример элегантности с посетителей кондитерских Невского проспекта, но которая попадает часто в другую крайность. Он был с головы до ног в черном, и воротнички de rigueur {пунктуально (франц.).} ни более, ни менее как на 1/10 пальца выдались из-за черного атласного галстука.

Женщина... ибо я не хочу назвать ее казенным словом "дама", этим несносным именем, добиваясь которого чиновницы часто уничтожают в себе всю свою природную женственность, - женщина, говорю я, была закрыта черной флеровой3 мантильей, и потому я могу сказать несколько слов о ее лице, но и то только несколько слов; черты этого лица были слишком тонки, даже до болезненности тонки; не одна природа так ярко очертила эти синие жилки на прозрачном облике, не одна природа так фосфорически осветила эти голубые большие глаза, создала эти бледные длинные худые пальцы, сообщила что-то мягкое, сладострастное и вместе утомленное положению этого слабого тела.

- Который час, Жорж? - обратилась она усталым тоном к сидевшему подле нее мужчине.

При звуках этого голоса, как-то странно, как-то ребячески резкого, незнакомец, неподвижно смотревший в окно, невольно полуоборотился.

Тот, к кому относился вопрос, достал часы из кармана жилета и, поглядевши на них, сказал:

- Huit heures et demie, Marie. {- Полдевятого, Мари (франц.).}

Дилижанс тронулся. Незнакомец стал барабанить пальцами по стеклу кареты. Молчали только он и его соседи. Все остальное рассуждало довольно шумно о новом начальнике отделения и о счастии семейной жизни.

Незнакомец сидел неподвижно, грустно смотря на мелькавшую перед ним бедную петербургскую природу.

- Мне душно, Жорж, - сказала опять его соседка мужчине, который, по всем вероятностям, должен был быть ее мужем.

Незнакомец, предупредивши ответ его, машинально опустил стекло кареты. В эту минуту он оборотился совершенно, и при первом взгляде на него тот, которого женщина звала Жоржем, почти вскричал:

- Званинцев!

Незнакомец спокойно протянул ему руку с тою же неизменною, сжатою улыбкою, хотя глаза его засветились на минуту ярче обыкновенного.

- Ты ли это? какими судьбами? - продолжал с радостью Жорж.

- Судьбами очень простыми, - полушутливо отвечал Званинцев; - скорее я вправе спросить тебя... - Он не договорил и взглянул на его жену, но взгляд этот был так быстр, что мог быть замечен только той, к кому он относился.

Что касается до нее, она слишком заметно вздрогнула в первый раз, когда муж ее произнес фамилию незнакомца, и, бледная, как бы еще более ослабевшая, сидела, склонивши голову. Только украдкою, на лету почти, был пойман ею беглый взгляд Званинцева, и потом она снова потупила в землю свои яркие глаза.

И что-то странное отяготело над этими тремя лицами, отяготело даже над мужем, которого веселое восклицание сменилось принужденной, суетливой радостью, и самый невнимательный наблюдатель прочел бы целую, может быть, давно минувшую повесть на этих трех лицах, на суровом, грустном, гордом челе Званинцева, в болезненно светившихся из-под опущенных ресниц глазах женщины, в неловких, несвязных речах ее мужа.

- Вот моя жена, Званинцев, - сказал наконец муж с натянутою улыбкою, - вы, надеюсь, знакомы?

Званинцев молча наклонил голову так, что это было вместе и утвердительным знаком и поклоном.

Она на него взглянула... В скорбном ее взгляде отразился тяжелый упрек.

Но Званинцев встретил его покойно. Глаза его бестрепетно впились в нее, - и она опустила взгляд первая.

- Как же тебе не стыдно, Званинцев? - начал муж, но замялся, встретив его спокойный, неподвижный взор.

- Чего? - равнодушно спросил его Званинцев.

- Ты знал, что я здесь, - продолжал муж.

- Вовсе не знал, - отвечал тот, - но кстати: давно вы из Москвы? Вопрос этот ясно относился к мужу и жене.

Но ответа на него не было, потому что вслед за этим отворились дверцы дилижанса, остановившегося на одном из мостов при въезде в город, - и знакомый Званинцева рад был случаю обратить внимание на новоприбывшее лицо.

Жена его не поднимала глаз.

Званинцев также склонил голову, сжавши двумя руками костяной череп своей палки.

В дверцы дилижанса вошел молодой человек, лет 18-ти, с длинными мягкими белокурыми локонами, падавшими на плеча, одетый довольно пестро, но чрезвычайно мило и грациозно. При первом взгляде он показался бы вам прекрасной женщиной, надевшей из прихоти мужской костюм; так был нежен цвет его лица, еще не изрытого страстями, так бархатны и влажны были его темно-голубые глаза, - но, вглядевшись пристально в угловатое очертание его висков, в длинный чисто германский овал лица, вы нашли бы в нем чрезвычайно редкий мужеский тип... В его движениях было много еще почти девической стыдливости, много робости, происходящей от молодого, смиренного чувства недосоздавшейся природы, хотя вместе с тем его лицо светило благородною гордостию. Он был в той поре жизни, когда не доверяют себе и верят другим, когда благородная природа жадно стремится к совершенству и готова мучиться, проклинать, пожалуй, даже презирать себя за слабость и верить глубоко в существование избранников, которым доступно созерцание совершенства, в существование вождей, озаренных светом неба, вождей, за которыми должно идти, если нужно, в самую бездну. И потому его прекрасный лик еще дышал доверием ко всему и ко всем, еще не был сжат гордостию, не признающею ничего, кроме себя в мире.

По ногам чиновников и по платьям чиновниц он протеснился в соседство к Званинцеву, на незанятое подле него место, и сел на него, не обративши особенного внимания на физиономию соседа, которой, впрочем, и нельзя было хорошо видеть, потому что начинало уже темнеть.

Но Званинцев поднял голову - и почти тотчас же обратился к нему.

- Здравствуйте, Севский, - сказал он ему.

- М-г Званинцев! - отвечал тот с каким-то неприятным чувством, и как бы нехотя протягивая ему руку, обтянутую желтой перчаткою.

- Мы вечно встречаемся, - с легкой иронией заметил Званинцев.

- Вечно! - повторил почти с досадою Севский.

- Да... - продолжал Званинцев, улыбнувшись, - и, там, где мы встречаемся... Но, кстати, - перервал он, не докончив своей фразы, - здорова ли ваша матушка?

Это \_кстати\_ имело, вероятно, тайную связь с неоконченною фразою, потому что молодой человек сказал обычное "покорно вас благодарю, слава богу" изменившимся от досады голосом.

Званинцев очень нецеремонно засмеялся и оставил молодого человека рвать свою перчатку.

- Послушай, Воловский, - обратился он к своему московскому знакомцу: - когда тебя \_находят\_ дома?

- Дома? - отвечал тот с худо скрытым замешательством и взглянул на жену, которая побледнела слишком заметно. - Дома? - продолжал он, стараясь выйти из своего неловкого положения, - но, любезный друг, всегда, т. е. почти всегда, хотел я сказать...

- Я спросил тебя потому, что мне хотелось бы к тебе заехать, - сказал Званинцев, глядя пристально на его жену.

- Очень буду обязан, - перервал муж.

Ужасное положение, когда нельзя, когда неприлично отделаться от посещения человека, которого видеть у себя неприятно.

- Хотя, право, - продолжал тихо Званинцев, - я не знаю, когда я успею к \_вам\_ заехать.

Молодая женщина подняла на него взгляд глубокой, стесненной грусти.

- Я сам у тебя буду, - сказал Воловский, вероятно, проклиная внутренно визиты и контрвизиты. - Где ты живешь?

- На Большой Мещанской, {5} в доме под Ќ 14, - отвечал Званинцев.

Дилижанс остановился еще на одном мосту.

- Кажется, нам пора выйти, Marie? - обратился Воловский к жене. Та медленно встала.

Званинцев пожал руку мужу и потом протянул руку жене.

Нерешительно и робко подала она ему свои бледные пальцы, и всякий третий мог бы видеть, как они дрожали в его руке.

Он крепко пожал их, эти бледные пальцы, и, устремив на нее долгий почти испытующий взгляд, сказал громко и резко:

- Я к вам буду.

К кому относились эти слова? Бог знает.

Но в ответ на них она послала ему взгляд, полный болезненного упрека, и, опираясь на руку мужа, вышла из дилижанса.

Званинцев долго смотрел ей вслед, сжимая череп своей палки. Потом, как бы опомнившись, обратился к своему соседу, с вечно неизменною сжатою улыбкою.

- Давно вы были у Мензбира?

- В последний раз мы были с вами вместе, - отвечал тот, скрывая досаду.

- Лидия заметно подрастает, - продолжал равнодушно Званинцев.

- Кажется, - сухо сказал Севский.

- Вы, вероятно, давно это заметили? - спросил Званинцев, не заботясь скрыть насмешливость своего вопроса.

- Почему же я, а не вы? - грубо возразил молодой человек.

- Мне некогда, вы это знаете, я всегда играю.

- И, \_кажется\_, счастливо, - перервал Севский, сделавши особенное ударение на слове "кажется".

- Да, в последний раз я выиграл пять тысяч у этого барона... как бишь его? - совсем забыл его имя... - ну вот у того, который всегда привозит что-нибудь Лидии.

Севский вспыхнул.

- Очень весело иметь хорошенькую дочку, - продолжал равнодушно. Званинцев, - этот Мензбир, право, пресчастливый человек. Как вы думаете?.. Да, скажите, пожалуйста, кто была ее мать, гречанка, что ли? Вам это должно быть известно.

Севский не отвечал. Дилижанс остановился на Невском.

- Пойдемте вместе, - сказал Званинцев Севскому, выходя из дилижанса, - нам по дороге.

- Нет, - сухо отвечал тот, - я еще зайду к одному знакомому.

- Так поздно?.. Что же скажет ваша маменька? - спросил Званинцев с явным сарказмом.

Но Севский был уже в десяти шагах от него.

Званинцев грустно улыбнулся вслед ему и повернул на Мещанскую.

-----

Говорят, в Петербурге очень весело зимою - может быть! Я не решаю этого вопроса, потому что вообще плохой судья в веселье; но что, я знаю cлишком хорошо, так это то, что летом в Петербурге необычайно скучно, особенно тому, кого не благословил рок службою в какой-нибудь канцелярии... Театров нет; ездить на дачи не стоит хлопот, потому что там точно так же играют в преферанс; в кондитерских народу мало, и только в одной из них каждый вечер толкуют об Англии и Франции, {6} о Невском проспекте и т. п.

Там есть всегда бессменные члены, и, когда вы ни придете, вы всегда найдете там седого человека с очень умной и насмешливой физиономией, - и моего приятеля \*\*\* с мефистофелевскою улыбкою на тонких губах, с болезненно-искаженными чертами, с сгорбленною и усталой походкой, с цинизмом в каждой мысли, в каждом слове, в каждом движении, с вечно злыми и страшными остротами, с вечными аневризмами сердца и боязнью за драгоценную для человечества жизнь, - и другого моего приятеля \*\*\*, которого благородная физиономия больше и больше покрывается густым слоем флегматизма, и низенького толстого человека с лицом птицы - великого мастера круглого биллиарда, спокойно поощряющего сподвижников искусства.

Но утром и в этой кондитерской очень мало народу. Один мой приятель циник сидит иногда в угловых креслах и читает новую "Presse" да но временам бросает ее с досадою, говоря будто бы про себя: "Скверно на свете жить!".

Раз - это было в светлое, довольно раннее летнее утро - в кондитерскую вошел или, точнее, вбежал уже знакомый моим читателям Севский. Он быстро подошел к прилавку и спросил какой-то конфеты-карикатуры, которой налицо не оказалось и за которой надобно было послать в другую кондитерскую.

- Warten sie nur einen Augenblick! {- Подождите минуточку! (нем.).} - сказал ему прислужник.

- Jawohl! {- Конечно! (нем.).} - отвечал Севский и, положив соломенную фуражку, стал ходить по первой комнате; потом, сбросивши свое легкое пальто, отворил дверь в другую и вошел в нее.

Спиною к нему сидел человек в черном бархатном сюртуке, по очертанию гладко остриженной головы которого ему нетрудно было узнать Званинцева.

- Вечно? - сказал Севский почти вслух и хотел уже затворить дверь; но Званинцев, услыхавши шум за собою, оборотился к нему с живостию и засмеялся.

- Да, вечно, вечно, мой молодой друг, - сказал он, протягивая ему через стул руку. - Вечно, везде, где бы вы ни были, вы меня встретите; таков рок.

Озадаченный этой насмешливостию, но смущенный сильно тем, что он дал вырваться из себя слову, которое, по всем расчетам, должно было остаться на дне души, молодой человек машинально пожал протянутую ему маленькую и белую руку и тотчас же почувствовал всегда неприятную ему манеру Званинцева пожимать указательным пальцем чужой пульс. {7}

- Да, таков рок, - повторил Званинцев, не выпуская его руки и продолжая щекотать его пульс указательным пальцем, впрочем, вовсе уже не насмешливо, а скорее важно и холодно. - Послушайте, - сказал он, вперивши в молодого человека неподвижный, сильный, магнетический, взгляд, - вы очень меня ненавидите? А? признайтесь по совести, - ведь очень? - не правда ли?

И, говоря эти слова, он положил его руку на ладонь своей левой руки и, гладя правою нежную и мягкую руку Севского, глядел ему в глаза с каким-то скорбным странно-умоляющим и вместе обаятельным выражением. Молодой человек молчал, опустивши глаза в землю; на его щеках пробился огнем румянец стыда.

- Ну, да... оно и понятно, - продолжал Званинцев, - вам велели меня ненавидеть? - И он холодно засмеялся.

Севский вспыхнул и с негодованием выдернул из рук Званинцева свою руку.

- Я вас развращаю, не правда ли? - говорил Званинцев, пристально смотря ему в лицо с насмешкою. - Ваша маменька...

Он остановился, ожидая, какое действие произведет это слово: он вонзился взглядом в свою жертву, как тигр, готовый к вечной обороне.

Натура Севского была не из тех слабых натур, которые покоряются ласковому слову: он ненавидел всякое наставничество, хотя бы в самых тонких, обаятельных формах.

Он отступил... он побледнел внезапно, как бывает со всяким человеком слишком нервного сложения.

Огненный взгляд Званинцева не упускал из виду ни одного его движения.

- Иван Александрович, - сказал наконец молодой человек, сжавши физиономию, но дрожащим от гнева голосом, - кто дал вам право говорить мне дерзости? Что вам от меня нужно?

Званинцев быстро прислонился спиною к стулу и смотрел на него, как смотрит художник на прекрасное произведение искусства.

- Ничего, - сказал он потом медленно, отвечая на вопрос, - я вас люблю.

- Я не хочу вашей любви, - почти вскричал молодой человек, судорожно сжавши спинку стоявшего возле стула.

- Да мне-то что до этого? - продолжал Званинцев, полушутливо, полугрустно, - я вас люблю, вот и все тут, я - картежный игрок, я - ужас вашей матушки, я вас люблю, я в вас люблю самого себя, свою молодость.

Севский молчал: чувство отвращения боролось в нем с чувством доверчивости его благородной натуры.

- Да, \_дитя мое\_, - начал опять Званинцев трепетным, почти умоляющим тоном, - я вас люблю. Вам это странно? И мне понятно, почему это странно вам, у которого есть на свете привязанности.

И он вновь замолчал, ожидая действия своих слов.

Чувство симпатии, чувство сострадания явно побеждало в душе молодого человека.

Званинцев заметил это, но вместо того, чтобы пользоваться слабостию противника, он вдруг переменил тактику.

- Да, \_дитя мое\_, - сказал он с немного насмешливым ударением на словах "дитя мое": - я хочу руководить вас в жизни, я хочу быть вашим лучшим другом.

Он опять сжался, как пантера на добычу.

Севский снова вспыхнул, но, скоро выправившись, сказал очень гордо:

- Нет, нам не быть друзьями.

Угловатые линии его лба обозначились резко. Он был мужественен, прекрасен.

Званинцев лежал в креслах, скрестивши руки и смотря на него с глубокой задумчивостию.

- Итак, мы не друзья, - сказал он наконец медленно и тихо... - Так, так - иначе и быть не могло: это воля рока. И сказать ли вам откровенно, - продолжал он, горько улыбаясь, - я бы презирал вас, если бы вы согласились играть когда-либо второстепенную роль. Потому-то я и имею причины вас любить, что ваша натура, как моя же, не признает над собою высшей.

Он замолчал. Севский с невольным смущением глядел на это высокое чело, осененное тяжелою думою.

- Итак, мы не друзья, - повторил опять Званинцев после минуты молчания, вставая со стула. - Мы не друзья, мы - враги.

Последние слова он произнес с безотчетной тоской и с какой-то немой покорностию рока. В этом человеке хитрость тигра беспрестанно меняла пылкие, женственные порывы.

- По крайней мере, вы хотели быть моим врагом, я вас люблю, - продолжал он.

- Я сказал вам, что не хочу вашей любви, - отвечал Севский тихо и сосредоточенно грустно.

- Да я не спрашиваю вашего позволения, - сказал Званинцев, - вас люблю и буду любить, но, не погневайтесь, любить по-своему. я вас люблю и буду любить в вас себя, и сделаю вас собою.

Такая страшная уверенность господствовала в холодном тоне Званинцева, что молодой человек отступил с невольным ужасом.

- Да, я вас сделаю собою, и тогда моя роль на свете кончена, - продолжал спокойно Званинцев... - Вы и Лидия будете моими последний созданиями.

Севский, не в силах совладеть с своим гневом, сильно толкнул стул.

- Как вы еще молоды, дитя мое, - вскричал с циническим хохотом Званинцев.

Но молодой человек был уже за дверью столовой.

Званинцев с большим удовольствием погладил свою густую черную бороду и спокойно уселся за принесенную ему cotelette a la sauce Robert. {котлету под соусом Робер (франц.).}

Он съел котлету, по-видимому с большим аппетитом, взглянул потом на часы, стрелки которых показывали полчаса первого, спросил себе рюмку рейнвейна, выпил и заказал себе еще что-то.

Но вот опять отворились двери первой комнаты и в столовую вошли два новых лица.

Одному из них было лет двадцать семь. В его наружности было что-то наглое: его походка, быстрая и резкая, напоминала полет ястреба, самое лицо его создано было по типу головы хищной птицы. Кстати замечу, что, вовсе не будучи физиономистом и последователем Лафатера, я привык распределять человеческие лица по сходству их с головами животных, и вот что извлек я из моих наблюдений: люди, похожие на хищных птиц, обыкновенно, очень смелы, даже дерзки - это их общее качество, но ястребиные физиономии принадлежат по большей части трактирным героям. Другое дело физиономия орлиная, которую только слишком неопытный наблюдатель не различит от ястребиной. Итак, один из вошедших был, как я сказал, очень похож на ястреба, и это почти все, что можно сказать о нем; прибавить разве можно только то, что он был одет очень богато, но пестро и безвкусно, и носил перчатки не на руках, а в руках, вероятно от непривычки носить их.

Наружность другого, пришедшего с ним лица, была до того неопределенна, что на ней трудно было бы прочесть что-нибудь. Он был молод, но его бледное лицо было изрыто слишком рано развившимися страстями, его глаза были тусклы и безжизненны, как тупой взгляд трупа, его длинные темно-русые волосы висели по щекам и по плечам сальными палками. Вообще какое-то отупение отражалось в его чертах, какое-то необычайное рассеяние выказывалось во всех движениях, то невероятное рассеяние, которое равно принадлежит или человеку, занятому слишком одною какою-либо мыслию, или человеку, который вовсе не имеет в голове никакой мысли. По временам в отупелом взгляде выражалось что-то похожее на божественную искру светлого, высокого ума, но помрачалось тотчас же бессмысленным развратом. Вообще по первому взгляду на него можно было заключить одно только: что этот человек или вовсе потерял центр и равновесие, или еще тщетно искал их.

Он не шел, а скорее влекся первым из пришедших. Костюм его был больше чем скромен; он был очень беден, и бедность эта еще ярче выказывалась от необычайной неопрятности.

Первый из пришедших, только что увидал Званинцева, бросился к нему с распростертыми объятиями, но Званинцев, отстранясь немного, не подал даже руки.

- Ах ты, душа моя! ну как ты? - начал новопришедший и, не ожидая ответа, продолжал: - Ну что? Как дела-то? храбро? а? - И он потер руками и захохотал громко.

- Кто это с тобой, Сапогов? - спросил Званинцев почти громко.

- Это, братец, мой задушевный приятель, поэт, братец, и идет в актеры, - рекомендую.

Званинцев сухо поклонился, и сопутник Сапогова отвечал ему таким же сухим поклоном.

- Что, каков, а? - продолжал Сапогов, толкая своего товарища и поворачивая его к Званинцеву.

Званинцев сел на стул и пристально взглянул на спутника Сапогова, но этот последний потерял даже, кажется, способность краснеть.

Вероятно, Званинцеву пришло в голову, что под этим беспутным развратом сокрыто или страшное бесстыдство, или сознание в себе высших сил, таящихся под грубым, скотским бесчувствием; но так или иначе, он перестал преследовать его своим взглядом и обратился к Сапогову.

Но Сапогов уже стоял с двумя рюмками ликера.

- Ну, на! выпей, что ли? - обратился он к своему спутнику: - чудесный ликер, - тридцать копеек серебром. Ну, пей же, что ли? - вскричал он с нетерпением, видя, что тот не вдруг берет рюмку. - Еще ломается!

Спутник его схватил рюмку и выпил одним духом.

- Храбро! - вскричал с хохотом Сапогов... - Ай да Антоша!.. - Антоша улыбнулся.

Званинцев опять вперил в него свой пронзающий взгляд.

- Ну, что, - обратился к Званинцеву Сапогов, - будем мы сегодня вечером...

- У Мензбира? Я буду.

- Во что? в преферку? - спросил опять Сапогов, подмигнувши левым глазом.

- Пожалуй.

- Втроем? с бароном? - Да!

- Обдерем, как липочку, - закричал Сапогов N; громким хохотом... - А я вчера бился в банчишку с Олуховым: надул, подлец, да зато научил штуке, говорит, в наследство оставлю... - И, наклонясь на ухо Званинцеву, он что-то тихо сказал ему.

- Знаю, - холодно отвечал тот.

Сапогову принесли котлеты, и он бросился уписывать их с жадностию.

Антоша сидел против него, и, кажется, он был голоден.

- А славная вещь, ей-богу! Люблю я котлеты, - сказал Сапогов, поднося вилку ко рту и пристально смотря на Антошу, - всегда ем котлеты, славная вещь!

И, кончивши порцию, он утерся салфеткой и толкнул по плечу Антошу.

- Ну, кутнем сегодня, поедем.

Антоша молча повиновался и машинально встал со стула.

- Прощай, Званинцев, - сказал Сапогов, надевая шляпу, а lа Polka, - до вечера.

- Прощай, - отвечал тот холодно.

- Ну, поедем, Антоша.... Шампанское, черт побери, поставлю, храбро кутнем, - говорил Сапогов, щелкая по ладони пальцем... - А славный малый, ей-богу, - обратился он к Званинцеву, показывая ему на Антошу, - без него бы просто беда. Иной раз хандра щемит, страшная, хоть давись, а с ним и разгонишь.

И, положивши руку на плечо Антоши, он запел: "О, Роберт, люблю тебя сердечно. Любви Души моей ты не постигнешь вечно!". {8}

Они вышли.

Званинцев послал Антоше взгляд на прощанье, но то был взгляд не презрения, а сострадания и участия.

Антоша поник головою и повлекся за Сапоговым.

Через 10 минут Званинцев взглянул на часы и, сказавши: "Ну, теперь пора", набросил фуражку и вышел из кондитерской.

-----

На бронзовых часах камина било два часа.

Мари Воловская полулежала на маленьком турецком диване в маленькой, но со вкусом убранной комнате, обитой темно-синим штофом.

В комнатке было полусветло, полутемно.

Левая рука Мари обвила шитую подушку, и к этой руке прильнула ее маленькая головка.

Она была вся в белом. Она была бледна, как всегда. Мари Воловская только что проводила мужа, который уехал куда-то обедать.

О чем она думала?

Длинные пальцы ее правой руки трепетали судорожно, как бы трогая клавиши.

На полу лежал шитый маленький башмачок.

Ног ее не было видно из-под платья. Ее сжимал холод.

На часах било четверть третьего.

Она быстро приподнялась... Лицо ее запылало и приняло какое-то пугливое выражение...

На нем сверкали то страх, то ожидание. Так ждет ребенок полуночного часа, ребенок, напуганный суеверными рассказами няньки.

Послышался звон колокольчика.

Мари окаменела.

Сукно, заменившее двери арки, отвернулось... за ним стоял Званинцев.

Он был таков же, как всегда, но угрюм и грустен.

- Садитесь, - сказала ему Мари твердо и тихо, - садитесь, - повторила она, собравши все силы... - Вы хотели меня видеть, ваше желание исполнено. Последние слова были сказаны с горьким упреком.

- Да, я хотел вас видеть, - сказал Званинцев, садясь на козетку у ног Воловской... - Я хотел вас видеть, видеть тебя, Мари.

В его тихом шепоте было столько безумной страсти, столько глубокой покорности, что Воловская не могла совладеть с собою и зарыдала. Званинцев схватил ее правую руку и прижал к губам крепко. Она перестала рыдать и вынула свою руку с каким-то негодованием. И, поднявши на него свои большие глаза, она сказала:

- Вы хотели меня видеть, зачем? что вам во мне?

- Все, Мари... вы это знаете... вы меня знаете.

- О, да! я вас знаю! - отвечала она с горькой насмешливостию. - Я вас очень хорошо знаю.

Они оба замолчали.

Званинцев скрестил руки на груди и смотрел на нее, как смотрит мать на больного ребенка.

- Помните ли вы наше детство, Мари? - начал он тихо, с особенно, ему только свойственною мечтательностью. - Помните ли вы старую березу на берегу пруда? Я был там опять недавно, я видел эту старую березу, она еще жива, и на ней уцелела метка вашего роста, которую я вырезал, когда мне было пятнадцать, а вам было двенадцать... Как ты была хороша тогда, как ты была чиста тогда, Мари... как ты доверчиво смотрела на меня своими голубыми очами... Мари, Мари... ты была моею, и ты отравила мою жизнь, Мари, и ты заставила меня проклинать жизнь, проклинать доверчивость, твою, мою доверчивость.

Она безмолвно слушала... она уже не могла оторвать от него глаз.

- Ты звала меня мужем тогда, - продолжал он с тихой сосредоточенной грустью, - на это смотрели сквозь пальцы, да, может быть, тоже видели нас они, добрые люди, в будущем мужем и женою... Да, это и должно было бы<ть> так, мы должны были быть мужем и женою, мы могли бы любить друг друга свободно, вечно... не правда ли? Ведь ты любишь меня, Мари, - ведь я люблю тебя?

Воловская закрыла двумя руками свое пылающее лицо. Званинцев сильно почти отнял эти руки и, глядя на неё с безотчетной страстью, продолжал:

- Да, это все так... это должно было быть так, - и между тем это не сделалось.

- Кто же виноват в этом? - спросила Воловская с горьким упреком.

- Кто? - повторил Званинцев и, не отвечая на этот вопрос, - ты знаешь, - сказал он, - я не мог жениться на тебе.

- Не мог?

- Да, потому что я вовсе не хотел заставить тебя разделять мою бродячую судьбу.

- Но разве в вас не было воли, не было силы создать себе состояние, имя? разве вы... разве ты не сильнее, не лучше, не выше всех?

Званинцев презрительно покачал головою.

- Разве теперь, - продолжала Мари, почти с насмешкою, - вы не создали себе положения в свете?

Званинцев горько улыбнулся.

- Видишь ли ты, - начал он тихо, - это положение, эту власть над разным людом я купил слишком дорогою ценою, потерею всего, что я мог бы любить. Знаешь ли, что такое это положение? На чем основывается эта власть? На том, что я ни в чем и <ни> в ком не имею нужды, что я свободнее всех, что я убил в себе всякую привязанность, что на все и на всех смотрю я, как на шашки, которые можно переставлять и, пожалуй, уничтожать по произволу, что для меня нет границ, за которые я не смел бы пойти...

Ужас и страдание отпечатлелись на бледном лице Воловской; она быстро схватила руку Званинцева.

- Никаких границ, говоришь ты, - сказала она трепещущим голосом.

- Да, никаких, Мари, - отвечал он твердо. Взгляд его был строг и неумолим, как приговор. Мари упала головою на подушку.

- И не думай, - продолжал Званинцев тем же тоном, - чтобы ты была виновата в этом. Нет, - прибавил он с горькою улыбкою, - так было предназначено.

Она молчала.

- И я знал это, знал с той минуты, как начал думать, - говорил он, - а я начал думать потому только, что я любил глубоко, и я тебя не обманывал, и я вечно был перед тобою тем, чем создала меня природа, и я прямо говорил тебе, что мне не ужиться с моими требованиями на свете. Будь я богат, я так же не имел бы нужды в других, но зато другие имели бы во мне нужду.

Воловская сжимала руками свою горевшую голову. Взгляд Званинцева был так гордо спокоен, так полон глубокого сознания правоты перед нею, достоинства в отношении к другим, что не одна она, любившая его всею вместе взятою любовью ребенка, девочки, девушки и женщины, поверила бы этому взгляду.

- Я был таков, я был всегда таков, - продолжал Званинцев, - в если ты любила меня, и если ты любишь меня, ты любила меня таким, ты любишь меня таким.

Мари уже смотрела на него с беспредельною, глубокою преданностию.

- Я хотел быть любимым тобою, - говорил он, - любимым больше всего, любимым безгранично, я хотел быть выше всех, потому что чувствовал себя выше многих. И я знаю, что ты любишь меня, - сказал он с чувством глубокой самоуверенности, - и я знаю, что ты не можешь любить другого, что ты презираешь всех, и больше всех своего мужа.

Воловская приподнялась с испугом и с отчаянием ломала руки.

Он сидел против нее спокойный, всевластный, непреклонный.

- Оставь меня, оставь меня, - проговорила наконец она умоляющим, боязливым голосом.

- Оставить, когда я могу наконец упасть у твоих ног? - отвечал страстно Званинцев, - упиться всем тем блаженством, о котором я рыдал, как женщина, целые ночи, длинные, мучительные, бессонные? Потому что я плакал, Мари, я много плакал, я, как дитя, плакал, но только о тебе, только об одной тебе, верь мне.

Истина и ложь, страсть и притворство так были тесно соединены в натуре Званинцева, что сам автор этого рассказа не решит вопроса о том, правду ли говорил он. Есть грань, на которой высочайшее притворство есть вместе и высочайшая искренность. Да и что такое искренность? Разве можно быть искренним даже с самим собою, разве можно знать себя? Да простят мне мой скептицизм и да не обвинят меня за этот скептицизм в пристрастии к моему герою, в желании оправдать его. Я менее всего на свете способен кого-либо оправдывать, и тем менее Званинцева.

- Оставь меня, оставь меня, - повторяла Воловская, - пряча свою ногу, к которой жадно прильнули губы Званинцева, - оставь меня... между нами встали судьба и люди.

- Судьба за нас, мой ангел, - говорил он полушутливо, покрывая поцелуями ее пальцы... - а люди!.. я давно уже хожу между ними диким волком... Мари, Мари!.. забудь и судьбу и людей, - продолжал он, с неистовою страстью сжимая ее в объятиях, - ты моя, ты моя... я должен стереть с тебя осквернившие тебя чужие лобзания.

Она вырывалась от него, - зазвенел колокольчик. Званинцев уже сидел на креслах, спокойный и холодный.

Воловская была спасена. Муж ее воротился вовремя, не заставши дома приятеля, с которым собрался обедать в клубе.

Званинцев встретил его весело. Смущен был не он, а бедный Воловский, вовсе не предвидевший этого посещения, и чрезвычайно опечаленный тем, что оно могло быть неприятно его жене, и без того уже расстроенной слишком нервами.

Но она была также спокойнее обыкновенного.

Званинцев у них обедал и после обеда целых три часа говорил с Воловским о молодости, об университете.

Воловский был страшно рад возвращению старого приятеля. Он был вполне славный малый...

-----

Перенесемтесь теперь, для пояснения моего рассказа, лет за тридцать назад.

Званинцев и Воловская воспитывались вместе, росли вместе. Отцы их были соседями по имениям, служили в одном полку, и отец Званинцева, штабс-ротмистр \*\*\* гусарского полка, умер в великий день Бородина на руках Скарлатова, отца Мари; Иван Александрович Званинцев остался после смерти отца на руках матери или, лучше сказать, на руках старой няньки, которая \_выходила\_ и Александра Ивановича; он был еще по одному году. Мать его, женщина рассеянная и по-тогдашнему довольно эмансипированная, вовсе не горевала о смерти мужа и, расстроивши до конца и без того уже порядочно расстроенное имение, убежала во Францию с одним из героев великой армии, выдававшим себя за полковника карабинеров. Маленький Ванечка был брошен совершенно на произвол судьбы, и бог знает, что бы с ним было, если бы не приехал Сергей Петрович Скарлатов, покрытый ранами и наконец решившийся оставить службу с чином полковника. Тогда люди имели еще слабость верить в дружбу, и потому Сергей Петрович вступился в положение сына своего приятеля, над которым, при множестве опекунов, сбывалась совершенно пословица, что у семи нянек дитя без глазу, и предъявил предсмертное завещание Александра Ивановича Званинцева, которым единственным опекуном его сына назначен был Скарлатов.

Полковник уехал в деревню, потому что в полусгоревшей Москве жить было не очень весело, а Петербург был ему ненавистен с тех пор, как он проиграл там половину своих будущих доходов, находясь еще под опекою; в деревню он увез с собою и ребенка.

Он был человек немного странный, но очень умный, живал за границею и, несмотря на то что дрался как истинный русский, любил Наполеона и Францию. Твердый и решительный сам, он глубоко сочувствовал этой железной воле, и, несмотря на то что в душе его было много истинной поэзии, он готов был поклоняться даже деспотической дисциплине своего идеала. С слишком немногими из своих современников он смутно постигал в нем не только великого полководца, но характеристический тип человека совершенно новой эпохи, и, сам того не зная, может быть, обожал в нем его стальной прозаизм, так несходный с переслащенною поэзиею прошедшего.

Он сам носил в себе семена практического XIX века, и один из первых занялся плодопеременным хозяйством.

Жизненная мораль его была уважение силы и одной только силы. A force de la force {Благодаря силе (франц.; каламбур: в силу силы).} он хотел даже создать из себя машину вместо человека, хотя это ему и не совсем удавалось. Естественно, что он с жаром бросился на теорию Бентэма, как только прочел о ней какую-то статью. В ней нашел он оправдание своих смутно предчувствуемых идеалов, хотя иногда, в минуты русской хандры, часто задавал себе вопрос, отчего эта теория его не удовлетворяет и чего еще ему хочется? В нем были две стороны жизни, и он, утилитарист, по странности своей природы, глубоко сочувствовал романтическому направлению.

Он приехал в свое поместье, чтобы заняться устройством его и воспитанием маленького Званинцева. Была пора, он мечтал об иной жизни, он любил и, разочаровавшись в любви, думал найти успокоение в тесном круге этих занятий.

Воспитание ребенка полковник начал по спартанской методе: с ранних лет закалить человека, как сталь, сделать его силою огромной паровой машины, вот какова была цель этого воспитания. Естественно, что оно покамест было физическое, потому что Ванечке, как я сказал, был только год.

Что касается до устройства имения, Скарлатов устроил его очень скоро, продавши половину на уплату долгов; остальной достаточно было для того, чтобы жить так, как живет всякий порядочный помещик.

И воспитание ребенка, и устройство имения, и чтение Бентэма - все это скоро надоело полковнику. Ребенок физически скоро достиг совершенства, т. е. не боялся нимало нежданных пистолетных выстрелов над самым ухом, а Бентэм, толкуя об утилитарности, вовсе не имел в виду хандры русского человека.

От хандры полковник женился на дочери соседа, семидесятилетнего старика, екатерининского бригадира в отставке, высокого, прямого, как палка, молчаливо угрюмого и занятого вечно чтением мистических книг.

Тогда, как известно, мистицизм и масонские ложи были в большом ходу; Скарлатов, как современный человек, разумеется, тоже принадлежал к какой-то ложе, и это первое сблизило его с стариком, который любил его, хотя и улыбался на его утилитарные системы ироническою улыбкою старого мистика... Скарлатов не любил его иронической улыбки и часто тяжело задумывался над его загадочными, темными речами.

Дочка бригадира была в полном смысле барышня, свежая, как огурчик, румяная, как заря, и довольно глупенькая. Потом она как следует сделалась настоящей барыней и лет через десять растолстела до невероятности.

Жизнь Скарлатова не переменилась почти нисколько, кроме того, что к нему, как к человеку семейному, стали иногда заезжать играть и пить соседние помещики с женами и домочадцами, когда прежде приезжали играть и пить одни, да и то довольно редко; жена его была довольно скупа, а он сам не находил особенного услаждения в разговорах о сенокосе да о выборах.

Тесть был очень беден, но переехал к нему только после слишком усиленных и настоятельных требований и после нескольких вспышек Скарлатова, который, несмотря на утилитаризм, был очень горяч.

Старик бригадир поместился в особенном флигеле и потребовал, чтобы с ним же поместили маленького Ваню, которого физиономия почему-то ему понравилась. Старик кроме мистицизма был заражен еще и лафатеровой физиономикой. Это была уцелевшая развалина великого XVIII века, дряхлая, но еще крепкая... Ребенок, который, как мы уже сказали, не боялся пистолетных выстрелов, привык очень скоро к его резкому голосу, к его повелительному тону, к его пронзительному взгляду.

Ему было уже три года, когда у полковника родилась дочь.

- Вот твоя невеста, Жанно, - сказал ему полковник, подведя его к колыбели, в которой плакал крошечный ребенок.

Старик тесть наморщил брови.

На несоздавшуюся душу ребенка слова полковника произвели глубокое впечатление: он почувствовал с этой минуты, что связан чем-то с крошечным, крикливым, слабым ребенком, - а всякая привязанность, всякая связь тяжело достается человеку. Рано или поздно ведь расторгнут же ее общественные отношения или сам он? Ибо нет ничего, во что бы не ввязались отношения общественные и беспокойный эгоизм человека.

Детей воспитывали отдельно; Ванечку, или Жанно, как звал его полковник, которому тяжело было говорить не по-французски даже на родном наречии, - Ванечку, говорю я, предоставили совершенно бригадиру и старому дядьке, угрюмому, как осенняя русская ночь, - Мари (ибо русское уменьшительное Машенька никогда для нее не существовало: отец и мать звали ее Мари, дворня - Марьей Сергеевной, вся, без исключения даже ее старой няньки, прежней няньки Ванечки), Мари воспитывалась на руках этой няньки, двух мамушек и десяти штук горничных девок, отличавшихся от дворовых тем, что они очень редко ходили босые и, в наказание за известные уступки матери-природе, были разжалываемы строгой нравственностью барыни в дворовые, тогда как дворовые просто ссылаемы были на деревню, эти наказания вполне и безусловно входили в права домашней юстиции Анны Николаевны. Сергей Петрович в них не вмешивался, потому что был утилитарист, а может быть, и по другой причине. Итак, детей воспитывали отдельно, но играли они вместе.

Жанно было десять, Мари - семь лет. Жанно давно уже бегло читал, писал и говорил по-французски и по-русски. Мари говорила по-русски, а читала только по-французски.

Бентэм был англичанин, Оуэн тоже англичанин, великий Франклин был американец, но говорил и писал по-английски. Вследствие этого Сергей Петрович рассудил выписать из Москвы для двух детей какую-то мисс Томпсон, на что бригадир кивнул утвердительно головою и сказал два каких-то загадочных слова о \_шотландских степенях\_. {9}

Старику стукнуло восемьдесят, но он по-прежнему был бодр и прям. Странно было то, что он глубоко, почти страстно привязался к своему питомцу, который звал его дедушкой. Угрюмый и суровый со всеми, даже с зятем, который мог бы понимать его, бригадир был нежен, как мать, к своему Жанно. Когда ребенок спал, старик часто склонялся над его маленькой постелью и смотрел на него по целым часам с заботливою, беспредельною любовию, с каким-то тайным ожиданием. Так ждут искатели философского камня расцвета таинственного цветка - чада солнца.

За что полюбил его старик? Напоминало ли ему это прекрасное, нежное лицо, эти большие глаза ребенка с выражением вовсе не детским, что-либо давно минувшее, быть может, черты когда-то любимой женщины, или просто была это жажда какой-нибудь привязанности, когда все нас оставляет, последнее усилие утопающего схватиться хоть за соломину?

Когда старик сидел углубленный в чтение ветхих пергаментных книг, ребенок сидел также за книгою, безмолвный, задумчивый. Это был странный ребенок, или, лучше сказать, это было странное создание двух веков: спартански-смелый, ловкий и сильный, он был, однако, важен и задумчив не по летам.

Старик имел привычку при чтении говорить иногда с самим собою, когда лицо его воспламенялось, но речи были так же загадочны и отрывисты; и ребенок с непонятным наслаждением всматривался в его черты, жадно вслушивался в эти темные таинственные речи.

И, заметивши это, старик вперял в него свой внимательный, пронзающий взгляд, и Жанно не отворачивался от этого невыносимого многим взгляда.

Старик и ребенок понимали друг друга.

Бригадир воспитывал своего названного внука на древних, и тот полюбил страстною любовию великую Грецию, с ее звонкими песнями, с ее обожествленными силами, с ее алкивиадовскою жаждою жизни и с сократическим равнодушием к смерти. Сергей Петрович ругал древних, любя только спартанцев и Катона Утического, и говорил Ване о Наполеоне. Но для чистой еще души ребенка между всем этим не было противоречия, и образ Наполеона сливался для него с светлым образом Аполлона Гелиоса, победителя Тифона.

Так шло воспитание Званинцева. Приводить его в систему поручено было какому-то выгнанному воспитаннику какого-то учебного заведения, которого Скарлатов приютил у себя в доме, - человеку очень ученому, но горькому пьянице. Его, впрочем, Ваня видел только в часы урока, остальное время утра он сидел подле деда, после же обеда переходил в руки полковника, потому что дед спал до шести часов...

Но наступал теплый летний вечер... вершины дерев огромного старого сада начинали тихо переговариваться, небо окаймлялось розовой полосою - и двое детей отправлялись гулять с мисс Томпсон.

Мисс Томпсон, добрая старушка, скоро уставала и садилась отдыхать, и дети гуляли одни по длинным аллеям, никогда не исполняя предписаний мисс Томпсон говорить по-английски и говоря на родном французском.

Они ходили и бегали... уставали и опять ходили, и все вместе, и все рука об руку... И месяц через чащу ветвей обливал их своим влажным светом, и было им привольно, и было им тепло друг подле друга, и было им безотчетно весело друг подле друга, и в ушах Вани раздавались слова полковника: "Вот твоя невеста".

Ване было пятнадцать, Мари - тринадцать. Они так же ходили по длинным аллеям сада, они так же были вместе, они уже звали себя мужем и женою... Бедные дети!

Мари развилась рано. Все, что чувствовал молодой Званинцев, все, что он читал, проходило по ее душе. Бедные дети! Они жадно читали Байрона, потому что никто не заботился о том, что они читают, да никто и не догадывался никогда, что всякий вечер на полке поэтов библиотеки Сергея Петровича недоставало одного тома.

Они любили друг друга и не умели говорить об этом друг другу: так это казалось им просто и естественно.

Старик дед умер, когда Ване было пятнадцать лет с половиною, умер спокойно, твердо, с иронической улыбкой на устах, пожавши руку полковника и обратившись к своему питомцу с последними словами:

- Jean, je vous laisse mes livres... Frappez et on vous'ouvr... {- Жан, я оставляю вам свои книги... Стучите и вам откр... (франц.).} Он не докончил.

Званинцев не плакал - он уже не был ребенком. Он поклонился с глубокою, стесненною скорбию этому гордому, еще более вытянувшемуся мертвецу, поцеловал его сухую руку и, взглянувши на сжатые иронией уста, задумчиво покачал кудрявой головою.

Деда зарыли. Зять поставил над ним колонку белого мрамора и окружил ее акациями и кипарисом.

Шестнадцати лет Званинцева отвезли в Московский университет. Он усвоил себе быстро верхушки современных знаний, но, возвращаясь на ваканцию к опекуну, с любовию и жадностию бросался за старые книги деда.

Опекун над ним смеялся... Званинцев молчал на эти насмешки.

Характер его развивался быстро. Он был горд и непреклонен, но обаятельно вкрадчив. Все повиновалось ему от товарищей по университету до самого Сергея Петровича включительно.

Но, возвращаясь домой по окончании курса наук, он нашел Сергея Петровича больным и умирающим... Из полученных отчетов по своему имению он увидал, что ему жить почти нечем. Имение Сергея Петровича в последние годы тоже расстроилось окончательно от неудавшейся плодопеременной системы, и этого расстройства не могла поправить скупость Анны Николаевны, потому что она простиралась только на сбор талек льну. {10}

Сергей Петрович, умирая, взял руку рыдавшей дочери и положил в руку Званинцева. Потом он показал на них глазами жене.

Званинцев горько улыбнулся, но взял руку Мари!

Справили похороны, съехались соседи и дальняя родня. За заупокойным же столом один дядюшка Мари по матери, бывший лицом очень важным в губернии, предложил ему протекцию по службе.

Званинцев отказался - он не любил почему-то службы.

- Что же ты будешь делать, Иван Александрович? - с видимым неудовольствием спросил дядюшка.

- Не знаю, - сухо отвечал он и после обеда тотчас же ушел во флигель.

А на другой день ни его, ни дедовских книг не было уже в Скарлатовском.

Его не упрекали... о нем не говорили. Анна Николаевна вообще его не жаловала: - Гордым бог противится! - говорила она всегда.

Мари - не плакала. Она была тоже слишком горда.

Через год она вышла замуж за молодого соседа их по имению, университетского товарища Званинцева.

Почтенный дядюшка обещал Воловскому протекцию даже в Петербурге, если бы понадобилось.

В эпоху нашего рассказа Воловский занимал видное место в Петербурге и получал значительный доход с своего и жениного имения, которые оба он устроил наилучшим образом. Мать Мари умерла в деревне, разбесившись не в меру на оскорбительный ее нравственности проступок любимой горничной. Старушка мисс Томпсон скончалась в Петербурге на руках Мари, благословляя ее и вспоминая со слезами о своем "dear John", {дорогом Джоне (англ.).} который никогда ее не слушался. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-----

Между тем, когда Званинцев был у Воловских, другой знакомец наш Севский сидел за письменным столом и грыз в зубах перо, склонясь над почтовым листиком с вычурными бордюрами.

Комната или, точнее, комнатка молодого человека была мала, но чиста и опрятна, даже изящна, если хотите, только немного щепетильно изящна. Все было в ней так гладко, так опрятно, что не видно было ни порошинки песку на столе, ни соринки на полу; в этой опрятности было что-то неприятно натянутое, и слишком заметно было, что половая щетка работала слишком часто. Комната была узка, но в ней кроме письменного стола были нагромождены еще кровать с занавесом, маленький диван и фортепьяно, помещавшееся между изголовьем кровати и диваном так, что большая половина этого дивана была совершенно неудобна для сидения. Кроме того, остальную часть стен до двух этажерок с прекрасно переплетенными книгами занимали плетеные стулья. На столе, довольно поместительном, стояло множество безделушек, вовсе ни к чему не нужных, разных пресс-папье, печатей, печаток и раковин для украшения. Перед столом стояли кресла, обитые красною кожею. В комнату Севского надобно было проходить через три парадные комнаты, не включая в это число маленькой передней. Севский жил у матери, вдовы статского советника, служившего в каком-то департаменте виц-директором, человека примерной честности, оставившего ей пенсию тысячи в две рублей да наследственную деревушку из 50 душ, в Тверской губернии. Жили они очень чисто и прилично, но малейшее уклонение от строгой дисциплины обыкновенных доходов повлекло бы в их быту значительные изменения.

Севский сидел и грыз перо. Он сидел не за каким-нибудь отношением, а за почтовым белым листком, на котором было написано "Lydie" с восклицательным знаком. Кроме этого слова и огромного восклицательного знака, Севский, несмотря на то что грыз перо чрезвычайно усердно, не прибавил еще ничего, кроме другого, маленького восклицательного знака, за которым скоро последовал третий.

Он был в видимом волнении; щеки его горели.

Наконец он схватил перо и начал:

"Lydie!!!" - (восклицательные знаки были расположены именно таким образом).

"В первый раз решаюсь я назвать вас этим именем, решаюсь потому...".

Севский подумал, ища, вероятно, достаточной и основательной причины, "потому что, - продолжал он как бы по вдохновению, - люблю вас, как сестру, люблю слишком чисто, чтобы не позволить себе этого названия...".

За дверями раздался шорох, - Севский с досадою бросил поспешно письмо в ящик стола и раскрыл какую-то книгу.

Вошла рыжая девка с половою щеткою.

- Зачем? - вскричал Севский с негодованием, - у меня чисто.

- Барыня велела, - отвечала девка флегматически и принялась за операцию.

Физиономия Севского приняла какое-то страдальческое, болезненное выражение: пытка эта, вероятно, была для него обыкновенна и вместе с тем слишком несносна. Нетерпение выражалось в его взгляде, но вместе с тем и какая-то покорность.

Девка ушла, продолживши свое занятие до невозможности: кажется, она также справляла тяжелый долг, а притом знала, что после него будет справлять еще более тяжкий, и потому вовсе не торопилась.

Севский опять достал письмо из стола и продолжал его, но продолжал, уже не перерывая порывов своего \_вдохновения\_.

"Причина, которая заставляет меня писать к вам, - слишком важна - для вас, Lydie, и... для меня, может быть. - Да!!!!! то, что я узнал, обдало страшным холодом мою душу, обдало потому, что... я дрожу написать это... Я люблю вас безумно, пламенно, я вас люблю, Lydie, я ревную... смейтесь надо мною!..".

Продолжение, как видите, слишком не гармонировало с \_братским\_ началом, но таковы письма влюбленных. Начнет всякий, как человек порядочный, и кончит черт знает чем, тем, о чем и сам не думал, принимаясь писать. Все дело было в том, впрочем, что Званинцев, этот холодный эгоист, этот человек без чести и без правил, - осмеливается произносить ее имя, обещается сделать ее своим созданием, ее - чистую, светлую, как само небо.

То, что между порядочными людьми называется сплетнею, у влюбленных носит название благородного порыва.

Письмо было кончено на трех почтовых листочках, но Севский еще не успел его запечатать, как послышался в передней звон колокольчика. Он опять поспешно спрятал его в ящик стола и раскрыл Гегелеву "Феноменологию".

Он ждал минуты с три и уже хотел было достать опять письмо из стола, как чьи-то твердые и быстрые шаги раздались за дверью, и в его комнату вошел мужчина лет 30, с южнорусскою физиономиею, с длинными черными кудрями, с усами и эспаньолкой; одет он был в греческое пальто-сак, из зеленого сукна, застегнутое доверху и, кажется, довольно уже послужившее; но воротнички рубашки голландского полотна и прекрасные, почти новые перчатки служили порукою за порядочные привычки этого человека.

- Здравствуйте, Севский, - сказал он с сухим кашлем, - а мне сказали, что вас нет дома? Я удивился, тем более что сам сказал вам вчера, что зайду к вам.

Севский видимо изменился, с смущением и робко почти подал ему руку.

- Да... - начал он с смущением, - я, извините, кажется, забыл... а впрочем... не знаю.

Видно было, что Севскому тяжело было лгать. Пришедший взглянул на него быстро.

Севский потупил глаза в землю.

- Вы, может быть, заняты? - сказал тот, взявши опять шляпу, брошенную им на стол.

- О, нет, нет, - вскричал. Севский с умоляющим видом, схвативши его за руку, - садитесь, садитесь, Александр Иванович! Хотите сигару... Впрочем, вы кашляете? вам нельзя?

- Ничего, дайте.

И новопришедший закурил регалию. {11}

- Умирать сбираюсь, - говорил пришедший, продолжая курить, - кашель, грудь болит смертельно!.. Да что это! - прибавил он, с неудовольствием махнувши рукою, - ничто не берет!

Он сбросил на пол нагоревший пепел... Севский кинул на это беглый взгляд, вспомнивши, вероятно, рыжую девку.

- Ну что вы? - сказал Александр Иванович, - все читаете?.. - и все вздор, чепуху немецкую? Читайте французов, Дмитрий Николаевич, читайте французов, народ хоть сколько-нибудь дельный.

И он с негодованием плюнул. Севский опять бегло взглянул на это.

- Будете вы сегодня у Мензбира? - продолжал его гость, не обращая особенного внимания на его косвенные взгляды.

При этом вопросе Севский взглянул почти с ужасом в сторону, где стояло фортепьяно, заслоняя собою двери.

Но он был слишком горд, чтобы показать перед гостем этот ужас... Он отвечал твердо и, по-видимому, равнодушно.

- Не знаю... может быть, буду, может быть, нет.

- Разумеется, будете, - иронически заметил гость, - разумеется, будете... Но скажите, ради бога, - продолжал он тоном искреннего участия, - зачем вы там бываете? Я хожу туда играть в карты, потому что, как вы знаете, это мой промысел, - карты, заметьте, не шулерство...

Севский бледнел и глядел на двери, заслоненные фортепьяном.

- Полноте шутить, - заметил он наконец с принужденной улыбкою.

- Шутить? менее всего на свете! - отвечал гость. - Я вовсе не шучу: я не литератор, не служащий, я человек вовсе лишний на свете. Но вам-то что делать у Мензбира? Если вы волочитесь за Лидией, то я скажу вам.

Но в эту минуту сам гость заметил взгляд Севского, полный такого ужаса и страдания и так прикованный к двери, что, казалось, молодой человек потерял над собою всякую волю.

Гость поглядел на него с недоумением и, чтобы переменить разговор, попросил у него вторую сигару.

Но сигара, которую подал ему Севский, была последняя: это еще больше смутило бедного ребенка.

И хозяин и гость молчали. В соседней комнате послышался звон чашек.

- Что это? - сказал гость. - Как вы рано пьете чай, Дмитрий Николаевич... Еще шесть часов только. Впрочем, я теперь выпью стакан с удовольствием... жарко.

- Да... то есть, - начал бледнея и краснея вместе молодой человек, - я должен предварить вас... - Но ему стыдно было предварять гостя, что, по всем его соображениям, принесут только один стакан, и он уже думал о том, что ему делать, не обидится ли его приятель... если он ему предложит свой стакан и сам останется без чаю...

Но в эту минуту дверь отворилась и явился лакей с угрюмой физиономией и с подносом, на котором стояли два стакана чаю. Лицо Севского немного просветлело. Александр Иванович выпил стакан и взял шляпу.

- Куда же вы? - спросил Севский, желая удержать его, потому что после чаю не предвидел уже никакой пытки.

- Мне пора, - сказал тот и, крепко пожавши руку молодого человека, вышел из комнаты.

Севский бросился на диван и закрыл руками свое лицо. Когда он открыл его, перед ним стояла уже барыня, нервически дрожавшая, с злобно язвительной улыбкою на бледных и обметанных лихорадкой губах.

- Вот и картежник и мошенник, Дмитрий Николаевич, - начала она сухим тоном, - а говорит вам дело.

- О чем, маменька? - спросил Севский голосом, дрожащим от внутреннего волнения.

И губы его сжались, и в груди, казалось, что-то накапливалось.

- О чем? я знаю, о чем, вы меня не обманете, - говорила она. - Ты думаешь, окружишь себя мошенниками и мерзавцами приятелями, так и. скроешься от меня... Нет, дружочек мой, они же тебя и выдадут, - продолжала она каким-то переслащенно-нежным тоном. - Пусть он и мерзавец, а говорил дело. За то я ему и чаю принесла, а то велела было отказать ему.

Севский, стиснув зубы, мог сказать только:

- Зачем? я бы не пил сам.

- Ты бы не пил сам?.. ты бы не пил сам? - завизжала матушка. - Так-то ты мне грубостями платишь за попечение! Уморить что ли меня ты хочешь? Что ж, умори, умори, я и так уже на сем свете страдалица...

Севский вскочил и ходил по комнате. Наконец он встал перед матерью, и во взгляде его блеснула отчаянная твердость.

Его мать еще больше завизжала и упала на диван.

Человек холодный заткнул бы себе уши... Севский был молод, Севский был благороден; в его высокой природе чувство сострадания ко всему себя низшему доходило до слабости.

Он ударил себя по лбу и, схвативши руку матери, поцеловал ее.

Она плакала и продолжала тише, но так же злобно:

- Вот они до чего доводят тебя, твои приятели... и не до того еще доведут, вспомнишь ты тогда материны слова: материны слезы сильны перед богом.

- Маменька, маменька! - умоляющим скорбным голосом говорил Севский.

- Что - маменька? - сказала она, отирая слезы, сухим тоном. - Я говорю правду, я уж давно страдалица, и все за тебя. Одного уж отучила от дому, а то было повадился каждый день шасть да шасть: словно с виселицы сорвался, картежник этакой, а тоже выдает себя за барина, в коляске ездит... Я про твоего приятеля толкую, - сказала она язвительно, - про Званинцева.

Дмитрий дрожал нервически.

- Какой же он мне приятель, маменька? - говорил он тем же покорным тоном.

- Что ж? небось этот лучше, что ли? небось лучше! тоже с цепи сорвался. Да уж за одно благодарна, правду говорит, у меня не изволь шататься к этому, как бишь его, где картежники-то собираются?.. Изволь-ка нынче к дяде... там порядочные люди, твой начальник отделения. А то куда хорошо, - мать больна лежит, а сынок сидит с мерзавцами да с развратной девчонкой шильничает. {12}

Дмитрий вспыхнул... но без действия, осталась эта вспышка в его истерзанной пытками организации. Он не имел силы вскипеть гневом мужа даже за то, что он любил больше жизни.

- Я пойду к дядюшке, маменька, - отвечал он с нежною покорностию раба и изменившимся от страдания голосом; все, что у других вырывалось наружу, в этой природе падало вовнутрь и грызло и жгло мучительно.

- То-то пойду... - продолжала мать, - а у меня смотри, ведь я поглядеть пошлю, точно ли ты у дяди.

И она вышла, захлопнувши с гневом дверь.

Севский опять упал на диван, изнеможенный, больной, и с ним начались припадки женской истерики.

Ему необходимо было быть у Мензбира. Но как?

Наконец он вспомнил, что жена его дяди любит его, что она несколько раз вызывала его на откровенность.

Он был горд для откровенности.

Но он был влюблен.

И впервые, может быть, человеческое достоинство и гордость принесены им в жертву.

- Но... лгать, лгать, боже мой! - продолжал он вставая, - но вечно лгать.

- И сметь еще любить? - прибавил он с негодованием на себя. Но он запечатал письмо и спросил одеваться.

А ведь точно любовь - хула в душе раба!

-----

По очень большой, но неприятно голой желтой зале одного дома на Песках {13} расхаживал маленькими, скорыми шагами старик лет 60, небольшого росту, седой, с быстрыми, беспрестанно бегавшими глазами... Старик был по-домашнему, в шелковом халате, сшитом сюртуком. Он беспрестанно поправлял свечи, расставленные по всем маленьким столикам залы и обливавшие ее желтизну особенным, отвратительным светом. Старик то раскладывал мелки на четырех приготовленных столах для карт, то заглядывал своими маленькими беглыми глазами в полуотворенные двери передней, то поправлял пюпитр для скрипки, поставленный подле прекрасного виртовского рояля. Какое-то лихорадочное беспокойство просвечивалось в его непреодолимой заботливости.

- Анна, Анна! - закричал он в двери, которые вели в другую комнату.

На крик его явилась малорослая Женщина лет 30, настоящий, неподдельный тип чухонки {14} или ведки, {15} ибо, как все чухонки, она обижалась своим чухонским происхождением. Что-то гнусно-наглое было в ее лице, довольно, впрочем, красивом.

- Анна, - повторил старик, - что же не выдет Лидка? пора, уж десять часов.

- А мой пошем знайт? твой Лида, а не мой, - грубо сказала чухонка, захлопнув дверь ему под нос.

Старик с досадою топнул ногой.

- Пора мне с ней разделаться, проклятою, - проворчал он сквозь зубы, - да и надоела уж, право.

Он опять начал ходить из угла в угол, поглядывая по временам в окно.

- Лида, - вскричал он, - Лида, а Лида?

- Что вы, папенька? - послышался серебряный голос.

- Пора, матушка, скоро наедут. -

- Сейчас, дайте мне застегнуть спензер. {16}

И через минуту дверь другой комнаты отворилась, и оттуда выпорхнула девочка лет пятнадцати, маленькая, как кукла, вся - выточенная, как кукла, но выточенная великим художником.

Она была мала - мала до той уродливости, которая есть высшая красота и малейший шаг за которую дальше будет безобразием. Ее мягкие светло-каштановые волосы, тонкие и длинные, падали довольно небрежно на щеки, нежные до болезненности; глаза ее, темно-голубые до того, что их с первого взгляда не различили бы вы с черными, облиты были преждевременной, опередившей года сладострастной влагою, и она опускала их так стыдливо-лукаво, так боязливо-смело... Бюст ее был совершенно античный; все тело ее, молодое и упругое, способно было гнуться и извиваться по-змеиному, и когда она села, небрежная поза ее дышала невыразимо обаятельным сладострастием; правая нога, выставившаяся из-под платья, была мала и вместе высока в подъеме, и это одно, что перешло в ней восточного от ее матери, гречанки по происхождению. Одета она была прекрасно, но фантастически-театрально: белое платье, короче обыкновенных модных, черный бархатный спензер, венок на голове и прекрасные, почти до плеча голые руки! Это была, казалось, театральная гитана. {17}

- Папенька, - начала она, смотря на отца очень выразительно, - ваш барон мне надоел... Долго ли он еще будет к нам ездить?

Старик не отвечал.

- Я вас спрашиваю, - повторила она со смехом, - долго ли будет ездить барон?

- Ты глупа, - с сердцем сказал старик.

- Я вам говорю, что он мне надоел, - вскричала она с нетерпеливою досадою ребенка... - Он настоящая сова.

- Да вот так для тебя и прогоню я его сейчас, - проворчал старик.

- Он мне говорит любезности!

- Ну так что ж?

- Знаете ли, что он мне сказал вчера?

- Ну!.. - и старик, заложив руки за спину, вопросительно глядел на дочь.

- Угадайте... - сказала она с веселым хохотом.

- Да ну же.

- Он уговаривал меня бежать с ним. С ним!

И девочка хохотала.

Старик заходил по комнате быстрее прежнего.

- Ну что ж? - сказал он с величайшим спокойствием, остановясь опять перед нею. - Он богат... играет скупо - так не скуп будет на другое. Не мытьем, так катаньем!

- Фуй! - сказала девочка и, сделавши презрительную мину, порхнула к роялю и запела чистым, хотя немного детским голосом какой-то романс.

- Ой ты! - сказал отец, - все вздор в голове. Ведь я разведал про Севского-то: ничего нет за душою.

- Он хорошенький, - сказала Лидия, прерывая романс и закинув назад головку.

Двери передней отворились. Вошли уже известные читателю Сапогов и его спутник, которого звал он Антошею. Антоша, впрочем, был во фраке, довольно чистом, хотя, кажется, сшитом не по нем. Лица Сапогова и Антоши раскраснелись от чего-то и черты последнего дышали отвратительным беспутством.

Лидия окинула их взглядом и, слегка кивнувши головою, продолжала играть.

- А, почтеннейший Андрей Сидорович! - засуетился старик, - наконец-то вы, - и он исподлобья взглянул на его спутника.

- А я к вам не один, Сергей Карлыч... Рекомендую, мой закадычный - Антон Петрович.

- А по фамилии, смею спросить? - сказал старик, протягивая спутнику руку и прищуря левый глаз.

- Позвонцев, - громко отвечал Антоша, пожимая протянутую ему руку и раскланиваясь с ухарскими ухватками. Видно было, что он не совсем в трезвом положении.

- Прощу полюбить да быть без церемонии, - сказал старик.

И сам же подал пример нецеремонности обращения, схвативши Сапогова и отведя его в сторону, спросил тихо:

- Играет?

- Ни гроша за душой.

- Так зачем?

- Нужен!

- Гм!

- Знает кой-кого.

- И может?

- Приведет.

- Когда же?

- Да уж приведет.

Во время этого лаконического разговора Антоша рассеянно смотрел в сторону; ему не было даже неловко.

- А я, представьте себе, какая со мной скверная была вчера история, Сергей Карлыч, - громко начал Сапогов, остановись посередине комнаты.

- Что такое, Андрей Сидорыч? - с участием спросил Мензбир.

- Да вообразите себе... Есть у меня приятель, служит со мною вместе, малый и того бы, кажется, умный... разбитной. Я, знаете, - продолжал он, щелкнув по ладони пальцем, - раз этак отвожу его в сторону и говорю: что, братец, мол, жизнь человеческая, говорю, - просто сад заглохший, как Шекспир говорит. - Ну-с!

- Есть, говорит, Андрей Сидорыч, извольте... А уж я, мол, говорю, тебе, любезный друг, десятый процент. Будете, говорит, вы завтра дома. Буду... Ну так я привезу к вам. Хорошо, мол. Ну, вчера утром сижу у окна, знаете, вижу, едет мой приятель в коляске, и с ним молодец в золотых очках, франтом таким. Я принимаю. Расшаркивается на всю комнату, и по-французски. Что, мол, он, братец, такое говорит? Charme, {Очарован (франц.).} говорит... Ну, мол, шарме так шарме. Вы, говорит, Андрей Антоныч, здесь, верно, скучаете? Да, мол, - а вы? Я, говорит, ма тант, {моя тетя (от франц. ma tante).} княгиня такая-то, ма гран-тант, {моя бабушка (от франц. ma grand-tante).} говорит, баронесса, там черт знает, что несет! - Не сыграть ли в преферанс нам, говорю я. - Извольте, говорит. Приятель мой ушел, дело, говорит, есть, после зайду. Садимся. Сыграли игры две...

- Ну-с, ну-с, - с видимым участием сказал Мензбир.

- Сыграли игры две, вижу - дока! Так уж и не играем, известно как с открытым, взятки ведь все на чистую. Что ни сдадим, у меня, говорит, семь, и бросит карты. Проиграл я пуанов 200.

- А помногу ли куш? - спросил, вмешиваясь в разговор, Антоша.

- А тебе что? - насмешливо сказал Сапогов. - По рублю серебром. Ну, да вдруг привалило мне счастье, как пошел, как пошел, храбро этак отыграл свои пуаны. Рискую страшно. Что мол? "Злато - мечтанье пустое, ужели нам жалеть его?" Да и наиграл на него 800 пуанов.

- 800 серебром! - вскричал старик, и маленькие глаза его запрыгали.

- Пора, мол, кончить! Сочлись - 800 серебром, он в проигрыше. Со мною, говорит, только билет в 10 тысяч. Ну что ж, давай его сюда. Я, говорит, завтра, да и давай, знаете, вилять, как лисица хвостом. Что, мол, завтра, подавай сюда. Ма тант, говорит, княгиня. - Я-те дам, мол, княгиня, ты подавай деньги... Я его, знаете, обыскивать, не дается, я людей, ну, Петрушку, вы знаете, малый дюжий, обыскали. Ни полушки. А, мол, так-то ты, на шарамыгу, да и давай его, и давай его, и тузил, тузил. А он, какой вы, говорит, шутник, мусье Сапогов. Я-те дам, говорю, шутник, я-те дам, говорю, шутник, да с лестницы-то его, с лестницы.

И под конец рассказа Сапогов хохотал оглушительным смехом; Мензбир улыбался.

Двери отворились, и ввалилась целая толпа игроков.

- А, барон, барон, - подбежал Мензбир к высокому мужчине в коричневом сюртуке, застегнутом доверху, с орденом в петличке, в высоком галстухе и с накладкою на голове.

Барон сухо отвечал на его приветствия и прямо отправился к роялю.

- Здравствуйте, Лидия Сергеевна, - начал он очень почтительно.

- Здравствуйте, - отвечала ему девочка насмешливо.

- Вы на меня сердитесь?

Девочка в ответ на это сделала презрительную мину.

Барона окружила толпа игроков и, оттащив его к зеленому столу, уже хотела посадить за партию, но Сапогов отвел Мензбира и сказал ему вполголоса:

- Нельзя!

- А что?

- Сам будет.

- Опять?

- Что ж опять? в прошлый банк на его долю пришлось три тысячи.

- Мало?

- Видно, мало.

Мензбир пожал плечами, но отвел двух игроков, посадил их с каким-то помещиком, толстым и низеньким, который, видя вокруг себя людей порядочно одетых, удивлялся простоте их обращения и радовался, что попал на славных людей, с которыми и попить, и покутить, и поиграть можно.

Дым от сигар и трубок застилал всю комнату.

Вошел знакомый Севского Александр Иваныч и, почти никем не замеченный, кроме хозяина, без церемоний, как бы находясь в трактире, подошел к сигарному ящику и тотчас же закурил на свечке плохую регалию.

- Кто это? - мигнул Сапогов Мензбиру.

- Не знаете? Он бывает часто... играет ловко, только того... плох.

- Ну! - с сомнением заметил Сапогов.

- Право!

- Дурак! - сквозь зубы проворчал Андрей Сидорыч.

Барон опять был подле Лидии, которая над ним безжалостно смеялась.

Один из игроков, не составивши еще себе партии, просил ее сыграть что-нибудь, обещавшись ей аккомпанировать на скрипке.

Началась импровизация - приготовленная еще за неделю.

Не люблю я этих Подготовленных импровизаций, не люблю я, когда профанируют публичностью тихую натуру бедной девочки, заставляя ее выказывать со слезами пополам доставшиеся таланты, не люблю я этих заказных, приторных похвал. Я помню, как судорожно сжималось мое сердце в один вечер такой подготовленной импровизации, как я готов был от души послать к черту всех этих гостей, с какою-то глупою важностью слушающих очень милую, но простую игру беспрестанно сбивавшейся в такте девочки, всех этих родных, которые не стыдятся дорожить в этом случае успехом и дрожат за него, - помню, как глубоко было досадно на нее самую, как я был зол тогда, как я страдал тогда.

Лидия играла. Раздавались браво.

Вошел Севский, в черном фраке, ловко обрисовывавшем его стройную талию, в белом шелковом жилете. Он был бледен: недавние пытки оставили след на его челе, но он был хорош: страдание сообщало мужескую выразительность его лицу.

Он оставался в дверях и в этой чадной атмосфере искал глазами своего воздушного призрака. Наконец тонкие черты Лидии прорезались сквозь эту дымку. Ему стало грустно, ему впервые слишком гадким явилось все, что окружало этого бедного, прекрасного ребенка.

Лидия кончила. Посыпались браво.

Севский подошел к ней. Она с живостию схватила его руку и увлекла к дверям залы, где стояли два порожних стула и где было не так душно.

Они говорили. Разговор их был пуст и полон ребячества. Лидия была резва и весела - Севский стыдлив, грустен и робок.

Но они оба были молоды, хороши, созданы, казалось, один для другого.

Они говорили, беспечные, забывшие весь окружавший их люд, а между тем почти подле них стоял уже Званинцев, который, слегка кивнувши головою хозяину, не пошел дальше и встал у окна, закуривши сигару. Он смотрел на двух детей внимательно и грустно.

- Что же это за тайна, Дмитрий Николаевич? - спросила Лидия с резвым смехом.

- Я вам говорю, что это очень важно... - тихо и твердо проговорил Севский, - умоляю вас.

И он быстро передал ей крошечный конверт.

- Стихи? - спросила она, лукаво улыбнувшись.

- Может быть, - отвечал он, но в эту минуту оборотился в сторону, чтобы скрыть свое смущение, и побледнел.

Званинцев насмешливо улыбался.

Севский с досадою вскочил с своего места и бросился к своему Александру Иванычу, все еще не сыскавшему партии.

- Здравствуйте, Лиди, - сказал Званинцев за стулом молодой девушки... - Я вам принес конфект... жаль, что не мог найти порядочной игрушки.

- Игрушки? - и девочка с досадою надула губки.

- Вы заметно хорошеете, - сказал он холодно. - Какие у вас славные локоны! Дайте мне поцеловать один. - И, не ожидая позволения, он уже наклонялся к ее головке.

Лидия вскочила с живым смехом и порхнула в другой угол. Он пошел за нею. Севского рвала досада и бешенсто.

- Послушайте, Лиди, - спросил Званинцев, - долго ли вы будете дурачить барона?

- Знаете ли? - отвечала она с детской доверчивостью. - Он сегодня предлагал мне руку и сердце.

- Право? и что же вы?

- Фи!

- Чего же вам надо?

И в Лидию вонзился взгляд тигра.

Она потупилась и отвечала робко:

- Не знаю.

- Дитя вы, - сказал беззаботно Званинцев.

- Отчего вы зовете меня дитею? - с досадою спросила Лидия.

- Оттого, что вы дитя, и притом мое любимое дитя. Лидия захохотала.

В другом углу Севский особенно торжественным тоном говорил Александру Ивановичу:

- Вы говорили, что меня любите?

- Да.

- И потому я могу требовать от вас услуги?

- Всегда.

- Я говорю это потому, что, быть может, вы мне будете нужны.

- Эх, вы, ребенок, ребенок, - говорил, грустно качая головою, Александр Иваныч, - я знаю, о чем вы будете просить меня.

- Знаете?

- Да... ну да что ж, впрочем? Ведь надо же вам когда-нибудь умереть? Не лучше ли даже умереть, пока вы молоды, пока вы еще не сделались подлецом. Я ваш.

- Хорошо, - сказал Севский, пожав крепко его руку. - Быть может, придет минута, когда я вам напомню об этом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Было уже три часа утра, когда Лидия вошла в свою тесную, низенькую, бедную комнату.

Она была утомлена и задумчива. О чем она думала? О том ли, отчего рано уехал Севский, о том ли, отчего Званинцев играл в этот вечер менее обыкновенного?

Не знаю. Знаю одно только, что она совсем почти забыла о письме Севского.

Ей беспрестанно мерещился то мягкий, то пронзительный взгляд, полунасмешливая, полустрастная речь - этот гордый, высокий человек, равнодушно бросивший на стол проигранные им в банк три тысячи и тотчас же обратившийся к ней с веселою шуткою.

Не раздеваясь, села она на кровать и, опершись локтем на подушку, склонилась головой на руку.

Она была утомлена, но ей не хотелось спать.

Медленно расстегнула она спензер, из-под мыска выпала записка.

Она вздрогнула.

Она вспомнила - и с жадным любопытством дочерей Евы разорвала конверт.

Она читала.

Письмо было глупо, но искренно. Что-то похожее на чувство, на первое чувство мелькало на лице девочки.

Но она дочла до того места, где говорилось о Званиндеве.

Щеки ее вспыхнули самолюбивым румянцем.

Стало быть, этот человек, так глубоко презирающий все и всех, тоже человек, как и все другие.

Да... но зачем он смотрит на нее, как на ребенка?

Лидия была дитя, но дитя, созданное из ума и расчета. Да и не виновата была она, бедная девушка: вокруг нее все дышало расчетом, все было взвешено и продано, и если до сих пор еще не была продана она, то, вероятно, оттого, что на нее рассчитывали больше, чем на собственную честь и совесть.

И она знала это.

Но, подчиненная силе, она бессознательно, может быть, думала, что имеет полное право защищаться своим оружием - хитростию.

И в ней рано развилось это змеиное свойство, развилось на счет всех других.

Бессознательно она, может быть, так же презирала все, как сам Званинцев.

Она еще никого не любила.

Она была самолюбива - и в молодом, милом, умном Севском привыкла видеть мужа, который введет ее в иную жизнь; мечты об этой жизни, порядочной, быть может, блестящей, - ее сильно тревожили.

И только.

Она была холодна, она была опытна не по летам.

Она была воспитана чухонкой да хламом книг, который ей отовсюду таскали игроки, сбиравшиеся у отца.

Читатель может судить, каковы были эти книги...

Странная смесь ума и невежества, простоты и кокетства была в голове бедной девочки.

Будущее ее было безотрадно... и в нем также видела она такой же расчет, хотя, может быть, в иной сфере.

И в первый раз, почувствовала она в этот вечер обаяние бархатного взгляда, обаяние силы, которая, казалось, ее сжигала.

Но она была самолюбива.

Он должен быть у моих ног, - думала она.

И от этой мысли ее мучила бессонница...

Утренняя заря облила комнату... Лидия заснула.

Она была дивно прекрасна, разметавшаяся, освещенная розовым светом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В эту ночь Антоша, как называл его Сапогов, или Антон Петрович Позвонцов, губернский секретарь, уволенный от службы за неспособностию, как значилось в его формулярном списке, ночевал на Крестовском острове под кустами.

Случилось это очень просто.

Он выехал с Сапоговым в его коляске, но Сапогов не рассудил ночевать дома и ссадил своего друга посередине улицы;

Антоша пошел очень равнодушно дальше, дальше и все дальше, наконец он дошел до Адмиралтейского бульвара и рассудил было ночевать на одной из его скамеек, но вспомнил, что полиция встает довольно рано.

И он спокойно шел, куда глаза глядят, - и так же спокойно лег под кустами Крестовского.

Но он не спал... он думал, - чего с ним давно уже не бывало, но какой-то хаос были его думы. То мелькали перед ним воспоминания давно минувшего: маленький домик в одном из самых отдаленных концов Москвы, тихая, скучная жизнь, два старых, облитых слезами, изборозженных морщинами лица - мужское и женское, и он готов был плакать; то, с негодованием отвергнувши эту полосу жизни, он видел себя молодым, полным надежд, безумно предающимся жизни, только что вырвавшимся на волю, с деньгами, еще уважаемым... с деньгами!.. О! он не знал тогда цены денег, он не знал, что деньги одни только делают человека свободным, он не знал еще, до чего доводит отчаянное безденежье и хандра, он не видал еще себя в своем будущем презренным паразитом Сапогова, бездомным скитальцем, который терпит все возможные унижения для того, чтобы не возвратиться на квартиру, где его ждет старый, пьяный, но жалкий слуга, не евший, может быть, три дня, да крик хозяйки за недоплаченные деньги. Он еще не знал тогда этого, он верил еще, что найдутся люди, которые поддержат человека, если он сделает ошибку в жизни, поддержат не бесплодным советом, а деньгами, деньгами, деньгами. И вот теперь он убедился горьким опытом, что человеку, раз запутавшемуся на свете, ровно нельзя ничего сделать; от долгов он бегал из дому, от долгов он не ходил на службу, которую и так не очень любил...

И вот нынче, в этот вечер, перед ним стоял человек с гордым челом, равнодушно и беспечно терявший тысячи за карточным столом, смелый, надменный, презиравший свободно все, что стояло с ним не в уровень.

То был идеал, тревоживший его юность, то был тип, который когда-то, еще юношей, он имел возможность хотя корчить - он, теперь друг, и наперсник, и подлейший раб презираемого им Сапогова.

В эту минуту Антоша без малейшего колебания продал бы душу черту, если бы черт не был слишком скуп в наше время.

Боже, боже! была пора, когда его могли спасти только полтораста рублей, только уплата первого, запутавшего его долга, и он жил бы, жил себе, скромный, грустный, отрекшийся от жажды необычной участи, но гордый, но не имеющий нужды ни в ком, и было бы своего роду величие в этом ограниченном положении. И он пошел тогда к своим друзьям, и он рассказывал им свое положение со всею искренностию, со всею чистотой благородной души, которая считает всякого способным к человеческому поступку; но его друзья удивлялись только, что его может запутывать такая безделица, снабжали его советами вдоволь и угощали у Излера.

И потом, потом, когда его спасла бы какая-нибудь тысяча рублей, он даже и не пошел искать этой тысячи. Он знал уже людей, он был уверен, что это сумма невероятная.

Но еще недавно, в порыве безумной мечтательности, ему, истощенному болезнию, страданием и развратом, вздумалось, что люди, владеющие миллионами, должны менее других ценить деньги. Он рассуждал очень просто, что сам он, если бы имел миллионы, то способен был бы бросать тысячи. Бедный безумец! к одному из миллионеров писал он письмо, странное, нелепое, просительное и вместе гордое, которого смысл был почти таков: "Вы богаты - я беден, у меня есть способности, но нет ни одного дня спокойствия. Вы можете дать мне год спокойствия, и я заплачу вам потом за это".

Разумеется, ответа он не получил, да, вероятно, письмо и не дошло до самого миллионера.

Перед ним все рисовался этот величавый образ, повелительный, прекрасный.

Боже! он так же, как и этот человек, мог быть выше многих, как и этот человек, он мог так же свободно и равнодушно требовать любви от прекрасной девочки.

И опять безумная мысль озарила голову Антоши.

Утро сияло... Было восемь часов.

Антоша порылся в кармане, но не нашел там ничего.

Тем не менее, дошедши до Васильевского острова, он кликнул извозчика и, садясь на него, сказал ему:

- В Большую Мещанскую!

-----

Званинцев проснулся, но лежал еще в постели.

Комнаты его были убраны со строгой простотой и изяществом, но, по особенной странности, спальня была обита пламенно-красным штофом.

Перед спальнею был кабинет, в средине которого стоял огромный письменный стол, а по стенам шкафы с книгами.

Званинцев курил сигару и пил чай.

- Не принимать сегодня никого, кроме Воловского, - сказал он своему слуге.

- Слушаю-с, - отвечал тот и хотел выйти, но Званинцев остановил его.

- Сходи сегодня к Мензбиру, снеси туда книги, которые я приготовил на столе, и отдай кому-нибудь, сказавши, что это от меня барышне; ступай сейчас и пошли Ивана.

- Слушаю-с, - сказал опять лакей и вышел. Через полчаса раздался звон колокольчика.

- Кто был? - спросил Званинцев другого вошедшего лакея,

- Какой-то чиновник, - отвечал тот, ибо в Петербурге слово "чиновник" заменяет московское слово "барин" для обозначения каждого, кто одет не в длиннополый сюртук.

- Кто такой?

- Не знаю-с, фамилии не сказал, и оставил вам записку.

- Подай!

Званинцев пробежал записку и спросил опять:

- Что? он ушел?

- Ушел-с!

- Нельзя ли его воротить? Лакей побежал в переднюю.

- Что за странность! - подумал Званинцев, перечитывая опять записку: "Человек, видевший вас только раз, имеет нужду вас видеть". - Это любопытно.

Вошел Антоша.

Званинцев поклонился ему без всякого удивления, но спросил его довольно сухо:

- Что вам угодно?

- Мне нужно говорить с вами, - отвечал тот, невольно потупляя глаза перед строгим взглядом Званинцева, и дрожащим голосом.

- Ну-с, я вас слушаю... - сказал тот, опираясь подбородком на руку и не спуская с Антоши глаз.

- То, о чем я буду говорить с вами, так странно...

- Нужды нет.

- Вы богаты...

- Гм! вам, верно, нужны деньги?

- Вы бросаете тысячи.

- Прямо к делу. Вам нужны деньги?

- Да, - сказал Антоша, с твердостию встречая взгляд Званинцева насмешливый и суровый.

- Хорошо, я не стану вас спрашивать даже, на что вам нужны деньги, деньги вещь очень важная, но сегодня я еще могу их бросить. Много ль вам?.. тысячи три, четыре?

- Две, - спокойно сказал Антоша, - но так я не возьму ваших денег, вы должны меня выслушать.

- К чему?

- Вы должны меня узнать, - настойчиво сказал Антоша.

- Я вас знаю, - спокойно отвечал Званинцев.

- Как паразита Сапогова?

- На что вам? не все ли вам равно?

- Нет, я не возьму ваших денег, - проговорил твердо Антоша, вставая со стула, на который он сел без приглашения.

- Безумец! - заметил с грустной улыбкой Званинцев. - Безумец! - повторил он. - Ну, утешьтесь, я знаю вас, как безумца.

Несмотря на язвительную несмешливость тона, Антоша понял, что Званинцев глубоко заглянул в его душу.

- Отоприте этот ящик, - начал ласково Званинцев, подавая Антоше ключ и указывая на ящик, стоявший на столе подле постели.

Антоша отпер.

- На левой стороне депозитки, {18} берите ими, да берите уж тысячу серебром, что за глупое жеманство?

Антоша отсчитал молча. Званинцев внимательно глядел на его лицо, но не заметил на нем и признака радости. Казалось, молодой человек совершал какую-то тяжелую обязанность.

- Вам тяжело, я вижу, - сказал Званинцев важно, - ну, что же делать, сами виноваты. Помните, что деньги - все.

И потом, подумав немного:

- Мне надобно вас взять в руки, - сказал он с улыбкою.

Антоша взглянул на него, и в его взгляде было много благодарности, хотя нисколько не унижающейся.

- Переезжайте ко мне, - опять начал Званинцев.

Антоша схватил его руку.

- Вы еще молоды, но в вас много благородства, много силы, много свободы, - говорил Званинцев. - Садитесь и пейте чай.

И через час беседы, в которой молодой человек передавал впервые другому человеку исповедь своих мук, своего унижения, казня беспощадно самого себя, - он был уже чист, светел и горд, как за пять лет назад, - он был уже почти равен своему идеалу.

Антоша уехал с тем, чтобы воротиться через два часа.

Лакей, которого Званинцев посылал к Мензбиру, возвратился и донес, что встретил барышню у ворот, выезжавшую в коляске с какой-то дамой.

- Куда?.. не знаешь? - спросил Званинцев.

- Не знаю, говорили только, что ужо в Кушелевом будут.

Через полчаса Званинцев оделся и вышел, оставив на имя Позвонцова записку, в которой просил его распоряжаться как дома в свое отсутствие.

-----

В Кушелевском саду опять раздавалось новое оглушительное попурри Германа. На скамьях против оркестра сидело много дам, жительниц дач большею частию, одетых в неглиже, требовавшее, кажется, не менее трех с половиною часов времени. За ними стояли гвардейцы и говорили очень громко, разумеется по-французски. Было еще семь часов.

Налево сидела Лидия Мензбир, с какою-то дамою средних лет, очень незамечательной наружности. Она, видимо, скучала, потому что не было никого из ее поклонников, к пошлостям которых она привыкла. Ей было досадно, что кругом ее раздавались любезности, которых предметом была не она, и притом на языке, вовсе ей непонятном. Ее родственница молчала, она молчала также.

Но вот мимо ее прошел и Званинцев, прошел и едва заметно кивнул головой.

В эту минуту она его ненавидела...

- Скучно, тетенька, - сказала она вставая, - поедемте.

Флегматическая тетушка машинально последовала ее примеру.

И они пошли. Обыкновенные посетители сада осматривали их с наглым любопытством.

- Как вы тихо идете, тетушка, - сказала Лидия, выставив вперед нижнюю губку, с нетерпением и досадою.

Но в эту минуту чья-то рука коснулась ее левой руки и без церемонии взяла эту руку.

- Куда вы спешите, Лиди?.. - раздался звучный голос Званинцева.

- Ах, это вы! где вы были, я вас не видала здесь, - сказала Лиди с худо скрываемой злостью.

- Я вам кланялся, - сказал Званинцев.

- Я не заметила.

- Я знал, что вы сегодня будете здесь.

- Ах, да!.. благодарю вас за книги...

- А где же Севский? - спросил равнодушно Званинцев. - Странно, что его здесь нет.

- Отчего же странно?

- Полноте скрытничать, Лиди, я знаю, что вы вчера приняли его письмо.

Взгляд Званинцева был так холодно насмешлив, что Лидия потупила глаза, несмотря на свою досаду.

- Ну, что же? очень страстно это послание? - продолжал Званинцев: - как оно начинается? вероятно - Lydie! и, вероятно, это слово написано по-французски, хотя Севский очень хорошо знает, что вы знаете только по-русски.

Эта наглая дерзость могла взбесить даже и не девочку. Лидия кусала губы от досады.

- Что ж тут смешного? - сказала она чуть не сквозь слезы. - Вы сами зовете меня Лиди.

- А! так я угадал... Но не в том дело, я совсем другое, я могу звать вас, как мне угодно.

Эти слова, произнесенные равнодушно и спокойно, вывели из терпения Лидию. Не привыкши удерживать свои внутренние движения, она вырвала свою руку из-под руки Званинцева.

- Как вам угодно?.. - сказала она, взглянувши на него с гневом своим блестящим взглядом.

Званинцев смотрел с улыбкою.

Он любил, когда из-под бархатной кошачьей лапки выступали когти тигра.

- Ну вот вы и рассердились, - сказал он добродушно, схватывая опять ее руку и кладя на свою... - Мне хотелось вас взбесить немного сегодня, чтоб видеть, к которой из кошачьих пород надобно вас причислить.

Лидия, несмотря на досаду, не могла удержаться от смеху.

- Дитя, дитя, вы и не знаете, как я люблю вас, - продолжал Званинцев, тихо и нежно.

Но Лидии хотелось не такой любви, спокойной и очень флегматической; она выставила нижнюю губку с досадою.

- Покорно вас благодарю, Иван Александрович, - отвечала она с ироническою улыбкою.

- Ну, что же писал вам Севский? - продолжал Званинцев, не обращая внимания на досаду девочки. - Предлагал вам руку и сердце? Не так ли, вероятно, с согласия своей маменьки?.. Может быть, также писал обо мне?..

Опять должна была потупиться Лидия перед этим ослепительным взглядом.

- Иван Александрович, - сказала она тихо, - знаете ли вы, что вы очень ошибаетесь, что я вовсе не так глупа и проста, как вы думаете, чтобы не заметить...

- Чего? - холодно и строго прервал Званинцев.

Лидия молчала.

- Не того ли, что я влюблен в вас? - продолжал Званинцев насмешливо. - О, о! вы порядочно самолюбивы.

Лидия была уничтожена... она ненавидела Званинцева, она хотела бы сгрызть его, как пантера, в эту минуту.

И между тем она шла с ним, покорная невольно. Они замолчали оба и шли долго, не говоря ни слова.

- Советую вам, впрочем, не слишком верить письму Севского, - сказал наконец Званинцев.

- Я не имею причин ему не верить, - сухо отвечала Лидия и поклялась в душе завтра же отвечать на это письмо.

- Севский молод, у него есть матушка.

- Он меня любит, и я его также, - сказала твердо Лидия, освобождая наконец свою руку.

Званинцев захохотал.

- Он до того еще ребенок, что продаст вас, бедная Лиди: извините за слово "продаст", оно очень верно, он вас продаст, говорю я, за одну минуту спокойствия от наставлений своей матушки.

В эту минуту он увидел перед собою Воловских, мужа и жену. Воловская посмотрела на его спутницу и побледнела.

Званинцев это видел, и лицо его сделалось грустно.

- Я был у тебя сегодня, - сказал Воловский, пожимая весело его руку.

- Merci. {Спасибо (франц.).}

И, кивнув головою Лиди, он пошел с ними.

- Походи, пожалуйста, с женою, - начал Воловский: - мне надо поговорить вот с этим гвардейским полковником, что стоит подле дамы в цыганке.

Званинцев и Воловская пошли вместе.

- Кто это? - спросила она с беспокойством, следя глазами за быстро удалявшейся Лидией.

- Так, дочь одного приятеля.

- Она чудесно хороша! - сказала опять Воловская, грустно поникнув головою.

Званинцев взглянул на нее с изумлением. Ему, кажется, было непонятно, чтобы она могла ревновать.

- Неужели я в ней ошибся? - подумал он. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Неужели я в ней ошибся? - продолжал думать Званинцев, входя на другой день утром в гостиную Воловских и останавливаясь перед занавесом арки, отделявшей эту комнату от спальни Мари.

Он остановился, как будто в нерешимости, но только на минуту. Он отдернул и тотчас же опять задернул за собою занавес. Мари лежала на диване, бледная, расстроенная, с заплаканными глазами.

- Что с тобою, Мари, что с тобою, мой добрый ангел? - сказал он, взявши обе ее руки.

Она зарыдала.

- Ты меня не любишь, - прошептала она.

- Безумная! - почти вскричал Званинцев, сжавши с необыкновенною силою ея руки, - безумная, - повторил он тише. - Если я что-нибудь искренно любил в мире, так это тебя... тебя, слышишь-ли ты, одну тебя и только тебя!

И, упав почти на колени, он покрывал горячими поцелуями ее ноги, ее платье....

- Мари, Мари, - говорил он страстным голосом, - я только с тобою таков, каков я на самом деле, я люблю тебя с бешенством дикого зверя.

И глаза его засверкали.

Мари вскрикнула и поднялась с дивана. Она поняла, что ее долг, ее верования висят на тонкой нитке.

- Опять! - с отчаянием сказал Званинцев, - опять! - повторил он глухим голосом, - чиста, как мрамор, холодна, как мрамор. Любовь, говоришь ты, - хороша любовь! О, Мари, что за любовь, у которой есть пределы!

- Ты хочешь, чтобы я умерла, - сказала Воловская боязливо и грустно, - ты знаешь... я твоя раба... ты знаешь это, но я умру, я умру...

И она зарыдала, закрывши лицо руками.

Он встал.

Он был грозен, как привидение, неумолим, как палач.

Она взглянула на него с немою покорностию.

Когда муж Воловской возвратился домой поздно вечером, он нашел жену в бреду лихорадки.

Доктор, за которым послала ее компаньонка, объявил ему, сжавши губы, что жена его больна нервической горячкой.

Через три дни она умерла.

Воловский оплакал ее столько, сколько прилично порядочному мужу оплакивать жену, и похоронил ее очень великолепно.

Званинцев, впрочем, не был на похоронах.

Его не было нигде видно с неделю, но потом он, как прежде, являлся везде, суровый, насмешливый, холодный. Только и заметили в нем нового, что он везде ездил с молодым человеком, который у него жил. Молодой человек был одет всегда в черном, был молчалив и важен. Он всегда в клубе играл в преферанс с Званинцевым и Воловским, который сделался тоже почти неизменным спутником Званинцева.

Собрания у Мензбира делались все чаще и чаще; но Званинцев вытеснил оттуда Сапогова и почти всех прежних игроков, заменивши их новыми, которые все были люди очень приличные и прекрасно говорили по-французски...

Эпизод второй

АНТОША

Patet exitus. {\*}

{\* Выход открыт (лат.).}

Мораль Адама Вейсгаупта {1}

К нашей жизни не привились еще маскарады, это старая истина, в Москве ли, в Петербурге ли, они всегда необычайно скучны. Разговоры масок до нелепости пошлы. Язык ли уж наш виноват в этом, другое ли что, только они никак не выходят из спряжения глагола \_знать\_, и постоянно слышите вы: я тебя знаю, или: я тебя узнал, повторяемые часто несколько раз одному и тому же лицу, вероятно за неимением сказать ему ничего поважнее. Порой только мелькнет, как молния, быстрая и жгучая французская фраза, сказанная страстным шепотом, порой только маленькая ручка сожмет с неженскою силою чью-нибудь \_избранную\_ руку и за трауром маски загорятся два огонька глаз.... но это так редко, так редко, но это выпадает на долю слишком немногих, да и для этих немногих даже слишком необыкновенно подобное явление. Нет! не дались нам страсти, мгновенно вспыхивающие, опаляющие страсти, - ленива русская природа, простор любит русская природа, простор во всем, даже и в любви. Эта страсть к простору делает наших порядочных людей самыми порядочными людьми на свете, порядочнее даже англичан, которые зевают от пресыщения, тогда как мы зеваем от, благодатного устройства организма, но бог с ней, с этой порядочностью, - как часто, страдая не зевотою пресыщенья, но пресыщением зевоты, хотел бы, вероятно, каждый из нас быть в состоянии хоть чему-нибудь удивляться, {2} в противность совету древнего.

Посмотрите, пожалуйста, вот в этой огромной зале большого театра движется с полсотни пар, медленно, лениво прохаживающихся взад и вперед под бесовски-неистовые звуки, раздающиеся с верхнего балкона; вот впереди всех господин с Анною на глее, с страшно отъевшеюся физиономиею, и об руку с ним темно-коричневое женское домино, с вялыми движениями, с тяжелой ступней немки... о немки, немки!.. в какую полусонную минуту создает вас вечная мать-природа, утомившаяся разнообразием резких южных профилей! И чем бы, кажется, не женщины - чудесный бюст, правильное очертание лиц, идеально правильное, и на каждом лице печать казенной чувствительности, но глаза... глаза, в этих больших, голубых, вечно спокойных глазах вам уже нечего искать с самой первой минуты, как вы их увидели, эти глаза, пожалуй, чисто небесные, но ведь чем ближе к небу, - холоднее, говорит пословица. И эта речь, эта речь приторно-сладкая, не частая, не рассыпчатая речь француженки, не полногласно певучая речь южной женщины, не ленивая даже, но полная соблазна речь русской женщины, а немецкая речь, пересыпанная вечными Ach! и до бесконечности протянутыми Ja... о немки, немки! они только тогда и хороши, когда погибают рано, как все героини \_Шиллера\_, - но беда, истинная беда, когда немка дожила уже до того возраста, когда она узнает толк в бестолковом Жан-Поле. О! тогда она замучит себя и других приторной аффектациею чувства, она пересластит самую любовь до того, что нужна детская страсть к конфетам, чтобы понять эту любовь, она из каждого мелкого чувства сделает маленькое чудовище на муку ей самой и другим, разумея под этими другими не немцев. Немцев сама природа создает для немок.

Но я увлекся, я начал маскерадом и пишу о немках. Не виноват - что же делать, когда нет русских женщин. Где они - давайте их, русских женщин!.. Мы не видели еще русских женщин. В Москве и Петербурге есть барышни, в Москве есть барыни, в Петербурге есть чиновницы: но ни в Москве, ни в Петербурге нет женщин, не родятся женщины - почва такая! А если и появится женщина, то ведь и там и здесь, по слову Пушкина, она - беззаконная комета в кругу расчисленном светил. {3}

Званинцев скучал невыносимо, ходя об руку с какою-то схваченною им на лету женскою маскою и слушая ее догматические, заказные Liebeleien. {любезности (нем.).}

Наконец, остановясь с ней недалеко от главного входа и направивши лорнет на ложу бельэтажа, он очень нецеремонно снял ее руку с своей.

- Du labt mich... Schame dich! {Ты оставляешь меня... Постыдись! (нем.).} - с невыносимою нежностью сказала его маска, но, не получа ответа, тотчас же схватила руку довольно толстого господина с лысиной на голове, сказавши: - Ich kenne dich. {Я знаю тебя (нем.).}

В ложе, в которую был направлен лорнет Званинцева, стоял, опершись на балюстраду, молодой человек. Он смотрел вниз, ища, казалось, кого-то глазами, и, наконец, быстро вышел из ложи.

- A! - почти вслух сказал Званинцев, надвинув шляпу и садясь на балюстраду одной ложи бенуара.

Взгляд его вскоре отыскал опять молодого человека, который, сошедши с лестницы из бельэтажа в залу, почти тотчас же подал руку маленькому белому домино и вмешался с ним в толпу.

Званинцев обратился к капуцину, стоявшему недалеко от него и давно уже неподвижному, как статуя.

- Послушай, - сказал он ему довольно тихо.

Тот не отвечал.

- Антон Петрович, - громче повторил Званинцев.

Капуцин невольно вздрогнул, Званинцев улыбнулся.

- Ты задумался не на шутку, - продолжал он.

- А что? - равнодушно спросил тот.

- Вот что, - сказал Званинцев. - Тебе все равно - быть замаскированным или незамаскированным?

- Почти... меня никто здесь не знает.

- Так дай мне, пожалуйста, твоего домино.

- Пожалуй - зачем тебе?

- Мне это нужно.

И они вышли вместе.

Почти вслед за их уходом явился молодой человек с маленьким домино. Молодой человек был Севский.

- Знаете ли, Лиди, - говорил он своей спутнице печальным тоном, - знаете ли, что вам грех меня так мучить?

- Вас мучить, - повторила со смехом девочка, - разве я вас мучу?

- Если б вы знали, - продолжал он, - чего мне стоило быть сегодня здесь... о Лиди! Пожалейте обо мне, если вы меня точно любите.

- Мне вас жаль, - сказала холодно его маска.

- Да я сказал, впрочем, не с тем, чтобы вы обо мне жалели... Мне уж теперь все равно, - отвечал Севский с какой-то отчаянной решимостью.

- Право? - засмеялась Лиди... - вам все равно, говорите вы, вам все равно... а ваша матушка...

- Лиди, Лиди, - говорил Севский страстно, - вы знаете, что я люблю вас, вы этому верите, вы должны этому верить.

С ними поравнялся почти в эту минуту капуцин и пропустил их вперед.

- О! да, я вам верю, Севский, - прошептала рассеянно Лиди... - но что вы так странно смотрите?

- Этот капуцин, - сказал ей на ухо Севский с видимым волнением.

- Ну что же? - спросила она и, засмеявшись, опять показала свои хорошенькие зубки.

- Если этот капуцин - Званинцев?

Лиди робко взглянула в сторону, но капуцин исчез.

- Так что же нам до него? - сказала она наконец.

- Что?.. Я ненавижу этого человека, Лиди... он беспрестанно следит за вами.

- Следит за мной? - с трепетом спросила Лиди.

- Бывают минуты, когда мне хочется убить его, - сказал Севский.

Севский и Лиди исчезли снова в толпе.

- Здравствуй, Воловский, - сказал капуцин, подходя к своему приятелю, разговаривавшему с человеком, которого лысина показывала с первого раза его солидность.

- Здорово, - отвечал Воловский, пожимая его руку. - Что тебе за охота нарядиться шутом?

- Так; мне надоело кланяться разным господам.

- Отсюда ты куда? - спросил Воловский, зевая.

- В клуб конечно, а ты?

- И я тоже. Да вот вместе, втроем, господа, отправимтесь, - продолжал Воловский, обращаясь к своему собеседнику... - Рекомендую вам, Степан Степанович, моего приятеля Званинцева... Званинцев! Степан Степанович, мой начальник...

- И хороший приятель, добавьте, - сказал человек с лысиною, подавая руку Званинцеву. - Я давно хотел с вами познакомиться, - обратился он к Званинцеву.

Званинцев поклонился.

- Не родня ли вам, - начал он, - молодой Севский...

- Николаша? - спросил толстяк.

- Кажется, - отвечал Званинцев.

- А вы почему его знаете? он мой родной племянник, сын моего брата.

- Я с ним виделся в одном доме, - сказал Званинцев.

- А! верно у Мензбира?

- Вы угадали.

- Ох, уж мне этот дом! - сказал толстяк, сжавши губы. - Вам и Воловскому, разумеется, ничего быть где угодно, но Николаша... Хоть бы вы его остановили, право, а кстати, как звать вас по имени и по отчеству? - добавил он, нюхая с расстановкою табак из серебряной табакерки.

- Иван Александрович, - отвечал за Званинцева Воловский.

- Ну да, хоть бы вы его остановили, право, Иван Александрович. Я уж ему говорил, да что? нас, стариков, не слушают. Матушка его - хоть и родня моя, а баба вздорная, ничего не умеет делать толком. Подымет всегда содом такой, что боже упаси, а путного ничего не сделает. А Николашу, право, жаль, я его люблю, малой славный.

- Я его, кажется, видел сегодня, - сказал Званинцев, как будто б<ы> отклоняя разговор.

- Где?

- Здесь, - спокойно отвечал Званинцев и тотчас же отошел от Воловского.

- Куда ты? - спросил его тот.

Но Званинцев исчез уже в толпе.

- Так он здесь? - заметил как бы про себя толстяк... - как бы его встретить, право?

- Что ж, пойдемте на счастье, - сказал Воловский.

Они пошли.

Через несколько минут им в самом деле попался молодой Севский об руку с Лиди.

- Да, - говорил он с жаром, - я знаю, что когда-нибудь один из них непременно столкнется с другим, я это знаю - и тогда...

- Кто это столкнется, мой любезнейший, и с кем? - перервал его вовсе неожиданным смехом чей-то знакомый голос.

Он остолбенел... Перед ним стоял его дядюшка и очень добродушно хохотал, показывая на Лиди чуть не пальцем.

- Ага! попался, друг? - продолжал он. - Молодец, право! кто это. с тобой?

- Дядюшка, - с досадой начал Севский.

- Ничего, ничего, - говорил Степан Степанович, - я тебе мешать не буду, это все, братец, ничего, на все это мое тебе разрешение... Вот только к Мензбиру.

Лиди вспыхнула под маской и почти насильно повлекла молодого Севского дальше от хохотавшего Степана Степановича.

- И я должна это слышать, - почти вскричала она, - и из-за вас, сударь, из-за вас.

Севский был уничтожен...

- Лиди, - начал он покорным голосом, - требуйте от меня чего хотите, но сжальтесь надо мною... Есть вещи выше сил моих.

- Я ничего не требую, - сухо отвечала Лиди и, бросивши его руку, подбежала быстро к женской маске.

- Поедемте, тетушка, - сказала она повелительно и схватила за руку маску.

- Здравствуйте, Лидия Сергеевна, - сказал ей почтительным голосом Позвонцев, стоящий в двух шагах от нее, - я вас узнал.

- А! это вы, здравствуйте, - рассеянно отвечала Лидия.

- Куда вы спешите? - начал опять тот.

- Пора, мне скучно... впрочем... я останусь... пойдемте со мною. - И, схвативши руку Позвонцева, она пошла с ним быстро мимо бледного Севского, который, сложивши руки на груди, прислонился к эстраде.

- Послушайте, \_друг ваш\_ здесь? - начала Лидия, с особенно злым ударением на слове друг.

- Здесь, если вы так называете Званинцева, - тихо и грустно отвечал Позвонцев.

- Как же иначе? вы с ним всегда вместе.

- Что ж вы не добавляете, что он мой \_благодетель\_, - с горькой улыбкой заметил Позвонцев.

- Благодетель? - с удивлением сказала Лидия.

- Неужели вы об этом не слыхали? - отвечал Позвонцев тем же грустным тоном. - Ну, так я вам скажу это, несмотря на то что терпеть не могу всяких благодеяний. Да... Званинцев спас меня, - продолжал он равнодушно-гордо.

- Ах, боже мой, что мне за дело до этого? - с нетерпением перервала Лидия.

Позвонцев грустно взглянул на нее.

- Так вам до этого вовсе нет дела? - спросил он. - Впрочем, это и понятно, что вам до меня, вам, которой ни до кого нет дела.

Лиди посмотрела на него пристально. В его тоне слышалось что-то очень странно грустное.

- Но вот и он, - сказал Позвонцев, увидевши недалеко капуцина, - передаю вас ему, - прибавил он с поклоном.

- О, нет, нет, - прошептала Лиди, сжимая невольно его руку.

Но Званинцев уже стоял подле нее и предлагал ей свою руку. Она не могла не пойти с ним.

- Ну-с, где же ваш Севский? - беззаботно спросил Званинцев, - неужели дядюшка был так неучтив... чтобы...

- Итак, это вы, это все вы, - сухим и резким тоном отвечала девочка.

- Да я - и все я, и везде я... - со смехом возразил Званинцев.

- Я вас ненавижу, - с силою прошептала Лидия.

- Благодарю вас. Но согласитесь, однако, что я говорил вам всегда правду, моя бедная Лиди, - сказал он с участием, смотря на нее пристально. - Вас продадут, мой бедный ребенок, продадут при первом \_опасном\_ случае.

- Я его люблю, - опять прошептала Лидия, - слышите ли вы, я его люблю.

- Можете, - спокойно отвечал Званинцев. - Впрочем, и я его очень люблю.

- Я это знаю, - с досадою заметила Лидия.

- Только по-своему, - равнодушно продолжал он, - надобно, чтоб он сам узнал, до какой еще степени он ребенок. Он, кажется, сбирается убить меня - по крайней мере, мне так послышалось. К сожалению, ему не удастся даже и этого, бьюсь об заклад: на это все-таки нужна твердость... хоть руки, пожалуй.

Лидия вырвала свою руку из руки Званинцева и, схвативши тетку, увлекла ее к выходу.

Званинцев уехал в клуб.

Севский тоже исчез.

Один Позвонцев долго еще стоял у балюстрады, прикованный глазами к выходу...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Было три часа ночи. Около часу уже Позвонцев, не раздеваясь, сидел в больших креслах в кабинете Званинцева. Взгляд его был дик и мутен; наконец он обмахнул лоб рукой, как человек, желающий согнать упорно засевшую в голову мысль.

Так! то, в чем искал он спасения, стало для него источником муки. Что из того, что этот человек, насмешливый, суровый и гордый со всеми, не стыдится перед ним плакать, пожалуй, что из того, что он сам, когда-то раб и приспешник Сапогова, когда-то полупомешанный Антоша, теперь имеет полную возможность и думать и грезить сколько душе угодно, что из того, что ему не отвратительно теперь возвращаться домой, - все-таки он погиб, он погиб потому, что никогда, никогда не удастся ему высказаться, что нечто гнетет и давит его и мешает ему высказаться.

А может быть, и ошибка - это желание высказаться... какие, в самом деле, формы бытия ему еще нужны? Он свободен, он не связан ничем даже нравственно, ибо все старые связи им разорваны, а Званинцев всего менее хочет ограничивать его произвол. Уж точно, есть ли в нем его собственная личность, как приходила ему мысль в былые годы?

Но это желание, но это стремление, эта тоска безысходная и это чувство своего духовного превосходства? Но это прошедшее, все полное мук и пыток, это прошедшее, с самого детства залитое слезами... Нет, нет, для него еще придет час освобождения, час примирения, за эти муки судьба еще должна заплатить счастьем. Иначе что же после этого упования живой души.

Прошедшее, грустное прошедшее... Вот перед ним, как китайские тени, мелькают картины этого прошедшего.

- Вот опять перед ним маленькие комнаты в одном из отдаленных углов Москвы, вот опять целый однообразно глупый, страшный день. Ему восьмнадцать лет, бедному малому, а ему каждое утро чешут головку костяным гребнем за догматическим чаем: ему больно физически, ему больнее нравственно, - но костяный гребень все-таки чуть не до крови чешет его голову, и льются неумолкающие жалобы из уст больной матери - бедная, больная женщина! Вот опять перед ним ее бледное, изможденное страданием лицо, ее лихорадочно блестящие глаза, ее болезненная злость, - и ему хочется рыдать о ней, его бедной матери, о ней, которая мучила его всеми истязаниями пыток... И вот опять, кажется, является вечно пьяный повар, и отец его в задумчивости начинает ходить по комнате, изобретая кушанья... а Антоше тяжко смотреть на эту задумчивость, он знает, что при первом неудачном желании какого-нибудь кушанья мать не утерпит, чтобы не сказать что-нибудь очень язвительное, и отец вспыхнет, покраснеет, раскричится - и расстроенный пойдет в свою тяжелую должность. И у бедного ребенка сжимается сердце, и еще больше сжимается оно, когда по уходе отца мать начинает свои бесконечные монологи об отце, о том, как он ничего беречь не умеет, о том, что он живет только в своих родных. И она плачет, она действительно плачет, она искренно страдает, бедная больная женщина, но она не в силах понять, что от этих монологов с каждым днем худеет и худеет сын, она еще спрашивает, отчего дрожат, как на проволоках, его руки, не могущие удержать чайной чашки. Но он вырвался наконец... он там, куда рвался давно, он сидит на лавке против кафедры, он слушает, он усердно слушает, ибо это его единственно спокойные минуты; в голове его совершается умственный процесс, идея вяжется за идею, великолепное здание является пред очами духа... но боже, боже - нет основы у этого здания, {4} и оно рушится, и перед ним бездна, страшная бездна, и перед ним невозможность здания... И вот раздается голос - его зовут; он бледнеет, он трепещет, ибо знает, что хоть здесь должен он быть первым, ибо он честолюбив и горд, бедный ребенок. И зато какими муками искупает он минуты своих академических торжеств! Он готов до бесконечной преданности привязываться к глашатаям истины, он думает еще, что есть люди, которые больше его разумеют цель жизни, он винит себя за то, что не видит цели в мертвых отвлечениях науки, он презирает самого себя, он рыдает целые ночи, он мучит себя целые дни над книгами... а взгляд его на жизнь не просветлел нисколько.

И предстает ему иная сфера жизни. Он уже понял, что обман, что лицемерие - вся эта научная деятельность, - и он усвоил себе этот обман, он стяжал себе им уважение глупцов и дружбу лицемеров. Он подает большие надежды, бедный ребенок, - беда в том только, что на вечерах известных кружков еще не играет он в преферанс, по причине весьма естественной, потому что ему не на что играть, потому что его касса, точно так же, как прежде, каждое утро поверяется матерью, по окончании обыкновенной операции костяного гребня... Ну, да это еще ничего, что он не играет в преферанс, зато он хорошо рассуждает, обо всем рассуждает, об астрономии, пожалуй, которой он никогда не учился, зато он \_рекрасная душа\_ зато он примерный сын, солидный молодой человек.

И вот из-за множества фантасмагорических призраков с длинными носами, с догматическими физиономиями - мелькает легкий, воздушный образ девочки. Лицо ее очень простодушно и мило, голубые глазки смотрят так преданно, так покорно, и она, как и многие, замечает часто следы нравственных страданий на лице молодого человека, но она одна высказывает ему это почти прямо: \_о! я знаю, вы часто плачете\_ - говорит ему она своим детским голосом, - ведь это смешно, смешно, боже мой! что женщина уличает мужчину в слезах, но вспомните, что этот мужчина - больной ребенок, истерзанный нравственными пытками. И пусть речи этого ребенка полны часто злой иронии, пусть в иную минуту, в иной вечер девочка в состоянии подчиниться тягостному влиянию этих речей, в состоянии грустить сама и говорить ему об этом простодушно-откровенно, - все же он ребенок, все же ведь она, же потом скажет ему: вы много читали... мало жили.

И ночь, ночь волшебная, редкая, прозрачная ночь перед взором Позвонцева - ночь, какую можно видеть только в грезах детства, и тихое качанье кареты, и робкий, и грустный взгляд девочки, которой впервые открыл он, что она - женщина, которой еще не верится это...

О, зачем, зачем исчез этот детский профиль, эта простодушная покорность, зачем вызвал он сам эти прозрачно-бледные черты, эти болезненно-сверкающие очи; зачем он должен быть ее демоном. Но он будет им, он им будет - он будет демоном, если она может любить только демона.

И призраки смешались, и прошедшее исчезло, и Позвонцев глухо рыдал все о нем, о прекрасном легком призраке...

Ибо что такое теперь, в самом деле, вся жизнь его?.. Неконченная драма, остановившаяся на четвертом акте... Все развитие совершено, оставалось пережить только катастрофу, а ее-то и не было. Бедная, странная жизнь, скептический вопрос без разрешения...

И что ж теперь?.. о! он в состоянии проклинать ту минуту, когда он был спасен Званинцевым... Пусть он нежен с ним, как женщина, этот человек, - все равно, он спас его - и они неравны. Есть человек, которого невольно должен Позвонцев признать по крайней мере хоть своим старшим братом. А он опять влюблен, влюблен страстно и безумно - зачем станет он скрывать это от себя? Да, он влюблен; но имеет ли право на любовь? Он уже слишком стар, чтобы подчиниться женщине, - он еще слишком молод, чтобы подчинить ее себе. Нет, нет - вон, с корнем, вон эту страсть из сердца, эту глупую безрассудную страсть. Он не должен больше любить, потому что не может любить по-своему. Так, так - и он покорен этому решению рока, но что же осталось ему? Жизнь так пустынна, так печальна, будущего нет более, остается одно прошедшее, мучительное своей безвозвратностию.

Позвонцев поднял наконец голову и вперил свой мутный взгляд в пару пистолетов, висевших на стене.

- Да, это так, - сказал он шепотом, - это так - рано или поздно.

- Но - не теперь, - раздался за ним звучный знакомый голос. Позвонцев вздрогнул.

- Я тебя поймал, - сказал тихо Званинцев, положивши руку на его плечо.

Позвонцев глухо рыдал, закрывши лицо руками.

- Послушай, - продолжал кротко Званинцев, - я тебя знаю, как свои пять пальцев, но теперь, признаюсь тебе, я не могу догадаться, что тебя так взволновало.

- Оставь меня, ради бога, не спрашивай меня, - прошептал Позвонцев.

- Я не люблю лгать, - начал опять Звацинцев, садясь в кресла и складывая на грудь руки, - я не люблю лгать, ибо уверен, что ложь слишком вредна. Правде надобно смотреть всегда прямо в лицо. Прикажешь мне \_а тебя\_ догадаться о твоем внутреннем расстройстве?

Позвонцев опустил глаза в землю перед его испытующим взглядом. Званинцев видел это.

- Ну да, - сказал он тихо и грустно, - я знал это, тебе тяжело быть обязанным даже мне.

Позвонцев вскочил с места и начал ходить по комнате.

- Что ж? - продолжал Званинцев так же скорбно, - твоя воля! Видно, уж мне суждено идти по жизни одному, видно, уж ни на чью грудь не склонить мне головы... я был с тобой откровенен, как с любимой женщиной, я был - да, я был с тобой счастлив, я, старый волк в людской толпе, нашел в тебе семейство, и верь мне, брат, - сказал он с глубоким чувством, - только в это последнее время возвращался я не с омерзением под свой домашний кров, и только в это последнее время я был меньше зол на людей. Но я сказал тебе - твоя воля! Тяжело, и тебе и мне тяжело будет жить одним, но уж лучше же выносить тяжесть жизни, чем лгать, как рабы.

Позвонцев, грустный и бледный, качал головою.

- Нет, - начал он наконец, с усилием, - я сам не могу тебя оставить, я привык к тебе, я тебя люблю... Видно, так уж должно, - прибавил он тихо.

- Итак?

- Что бы ни было, я остаюсь... по свободному избранию.

- Благодарю, - сказал Званинцев: - ты и сам не знаешь, как ты много делаешь мне добра.

- Да, - отвечал медленно Позвонцев, - может быть, но почему я осужден встречать в жизни только высших или низших, а никогда равных? Впрочем, это очень глупый вопрос, - прибавил он с принужденным смехом. - Видно, так уж надо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вот перед нами опять маленькая, чистая комнатка Севского, и ничто не изменилось в ней, пол, кажется, выметен только еще чище, да на столе прибавилось множество безделушек большею частию работы нежных рук кузин, вероятно.

Но, бедный Севский, как он исхудал, как страшны его впалые щеки, зеленый цвет лица, обметанные лихорадкой губы, как уныло смотрят его светлые глаза, как резко обозначились угловатые линии лба!

Бедный молодой человек! Бедное, любимое дитя природы, истерзанное людскими отношениями, неотвязной людской любовью, идущей всегда наперекор любви вечной матери, наперекор здравому смыслу человека!

В самом деле, человек - существо разумное и свободное, существо высшее по своей организации и потому имеющее полное право на жизнь, сообразную с его высшими потребностями, - это существо, вследствие какой-то страшной путаницы, должно ограничивать свои желания, уничтожать свои потребности! Природа его требует любви, и, кажется, не все ли прекрасное стоит любви, равно может быть ее предметом и источником. Нет! первые впечатления, первые наклеенные понятия ограничили взгляд человека, давай ему не вообще прекрасного, но такого прекрасного, какого он привык ожидать и желать по понятиям того кружка, в котором он живет. Мало этого. Он наконец встретил прекрасное, им самим избранное прекрасное, он наконец остановился перед избранной женщиной - и готов сказать ей слово любви, слово союза. И что же? ему - которого мысль в единое мгновение облетает бесконечное пространство - ему говорят другие люди: "Она не пара тебе" или "Она не может быть твоею, ибо предназначена другому", - и пусть человек и женщина любят друг друга такою любовью, которая в состоянии уничтожить и их самих и все возможные отношения, - попробуй они поверить в силу этой любви!.. Нет силы, которую не уничтожили бы постоянные муки и расчетливые пытки, нет любви, которой не залили бы собственные, выдавленные слезы.

Севский сидел у стола, сжимая голову руками.

- Дмитрий Николаевич! - послышался из другой комнаты пронзительный и дребезжащий голос.

Севский не слыхал... он был слишком углублен в самого себя.

- Дмитрий Николаевич, а Дмитрий Николаевич, - снова раздался тот же голос, но гораздо повелительней и строже, - я вас зову.

И вслед за этим в растворившиеся двери показалась голова матери.

- Да что ты, оглох, что ли? - сказала она, подходя наконец к нему и грозно сверкая лихорадочными глазами.

Севский поднял голову; лицо его горело.

- Виноват, маменька, - прошептал он, - у меня голова болит.

- Голова болит! - вскричала мать, и что-то похожее на чувство сожаления блеснуло на ее лице. Она быстро приложила свою худую, костлявую руку к голове Севского.

- Да ты весь в жару, Митинька, - начала она... - Вот то-то, мой голубчик, по ночам-то рыскаешь до свету. Погубишь ты себя, совсем погубишь, Дмитрий Николаевич, и оставишь меня одну. Уж я и так мало радости-то на свете видела, а тут...

Она не договорила, слезы градом полились по морщинам ее бледного исхудалого лица.

- Маменька, - страдающим тоном сказал Дмитрий, - покрывая поцелуями ее руки, - да полноте, полноте, маменька.

- Не жалеешь ты меня, дружочек мой, - говорила она рыдая. - Вишь, - продолжала она с сердцем, - голова-то так и горит. Где был вчера целую ночь, мой батюшка? Знаю, знаю, не вертись, не лги, грех перед матерью вертеться, мне дядюшка все сказывал, все.

И голос ее задрожал от гнева при последних словах.

- Знаю, где и вечера-то сидишь, Дмитрий Николаевич, - начала она опять, садясь на диване и утирая платком слезы. - Что ж, твоя воля, я тебя не удерживаю, погуби мать, погуби - я уж и так на свете мученица.

Севский молчал и тяжело дышал, как человек, у которого на груди лежит тяжелый камень.

Послышался звон колокольчика.

- Небось, к тебе несет нелегкая, - язвительно заметила мать. - Вот дожила до какого времени! И с сыном поговорить не дадут. Ну, что ж ты, - вскричала она, приподнимаясь с гневом, - поди, принимай своих гостей.

- Г-н Званинцев, - доложила входя рыжая девка.

Севский побледнел.

- Это не ко мне, - сказал он с живостью, - я его не звал.

- Да я-то его звала, - отвечала мать насмешливо. - Конечно, уж не к тебе он приедет, к мальчишке...

- Маменька, маменька. Да не вы ли... - с нервною дрожью начал Севский.

- Что не я ли? Что не я ли? - сказала мать с возрастающим бешенством. - Званинцев не твоим мерзавцам чета: я его не знала, так и говорила о нем прежде, что и он такой же. У меня смотри, - быстро закричала она, - выдь к нему.

Вся кровь бросилась в голову Севскому... он упал без чувств на кресла.

Когда он очнулся, перед ним стоял Званинцев с ласковою и грустною улыбкою.

- Вы больны, - начал он, взявши с состраданием его руку. Севский выдернул руку и прошептал: - Оставьте меня.

- Вы видите, - оказал Званинцев уныло, - ваше сопротивление тщетно, вы в моей власти, я вам говорил это, я вам это доказываю.

- Варвара Андреевна, - обратился он спокойно к вошедшей матери Севского, - ваш сын болен, пошлите за доктором...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мензбир быстрыми шагами ходил по желтой комнате. Его седые волосы поднялись, как щетина, ноздри раздулись от гнева и волнения, на лбу его показались морщины.

Лидия сидела у рояля, беспечно закинув голову за спинку стула и по временам перебирая клавиши рукою.

- Да тебе, что ли, я говорю или нет? - вскричал наконец Мензбир, судорожно сжимая кулаки и останавливаясь перед нею.

Лидия презрительно улыбнулась.

- Я вам сказала, - равнодушно отвечала она, - будет с вас.

- Лидка! - закричал Мензбир, ближе и ближе подступая к ней.

- Что это!.. - вскричала Лидия... - о! вам не удастся! - и с этим словом она с быстротою молнии вскочила с своего места и была уже на балконе.

Мензбир топнул ногой и опять заходил по комнате.

- Скажите вашему барону, - быстро проговорила Лидия, отворяя половинку дверей балкона, - что я не буду принадлежать ему.

Мензбир ударил себя по лбу.

- Скверная девчонка! - прошептал он сквозь зубы. - Лидия, а Лидия, - начал он ласково, - поди сюда, мы поговорим с тобою посерьезнее.

- Ну-с, я вас слушаю, - сказала Лидия, снова отворяя половинку дверей.

- Да поди сюда... эх, какая!

- Я вас слушаю. Чего ж вам... ну-с, говорите... да говорите же... я жду, - быстро сказала Лидия.

- Ты все на Севского-то надеешься, - начал Мензбир ласково, - ведь я тебе говорил, что о нем уж справлялся... имение все записано на счет, да и что за имение-то... Дрянь сущая... ну, каких-нибудь тысяч пятьдесят в ланбарде, да и те едва ли наберутся, - чем тут жить, сама ты рассуди только... А у барона-то миллион, а. барон-то хоть скуп, как жид, да зато богат, как жид.

Лидия задумалась.

В эту минуту отворились двери комнаты, и вошел Званинцев ровными и тихими шагами, с веселым и ясным челом.

- Здравствуйте, - кивнул он головой Мензбиру... - я к вам в необыкновенное время, потому что за делом.

- Что вам угодно, Иван Александрович? - с приторно нежной заботливостью обратился к нему Мензбир.

- О, дело не до вас, - почти презрительно отвечал Званинцев, - дело до вашей дочери.

- До меня! - быстро перервала Лидия.

- Да, до вас, - спокойно сказал Званинцев, садясь в кресла против нее. - Я, - продолжал он с комическою важностью, - приехал к вам сватом, именно сватом.

Лидия быстро взглянула на него, но тотчас же опустила глаза, встретивши их ослепительно холодное выражение.

- Я приехал уполномоченным от матушки Дмитрия Николаича, - начал снова Званинцев.

- Севского? - перебил Мензбир.

- Теперь, - продолжал Званинцев, не обращая внимания на слова отца и пристально смотря на Лидию, - все зависит от вашей воли.

Лидия опять взглянула на него и опять увидела то же бесстрастное выражение лица, которое напоминало спокойствие египетских сфинксов. {5} Она тихо встала.

- Скажите Дмитрию Николаевичу, - сказала она тихо, - что я не отрекаюсь от своих слов.

-- Только? - спросил немного насмешливо Званинцев. Лидия опустила глаза в землю; правая рука ее рвала платок, на ее щеки выступил румянец досады.

- Да-с, - прошептала она сквозь свои хорошенькие зубки. Званинцев засмеялся.

- Я у Севского посаженным отцом, Лиди, - сказал он. - Вот видите ли - вы правы: все я ж везде я... Ну, так дело в том, что я могу объявить Севскому о его \_счастии\_, - прибавил он с насмешливым ударением на слове счастие.

- Кажется бы... - начал Мензбир.

- Что-с? - строго оборотился к нему Званинцев.

- Нет... я ничего... я, право, так, заметил только, - заговорил старик.

Лиди быстро встала с места и ушла в свою комнату.

Ей было досадно, ей было больно... она в волнении упала на постель... Расстаться с мыслию, что Званинцев ее любит, было для нее слишком тяжело.

Она его проклинала.

Она уже любила его всей силой первой девственной страсти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Знаете ли вы зимние вечера, длинные, бесконечно длинные зимние вечера, проведенные в одинокой комнате с нагоревшей свечою, когда над вами лежит что-то страшно тяжелое, и сжимает, и давит грудь, и перед вами, как будто на смех, кружатся и роятся светлые легкие призраки, которые дразнят вас, как дневной свет, проникающий в узкое отверстие тюрьмы.

В один из таких адски-томительных вечеров Антоша сидел один у письменного стола, склоняясь головою на лист почтовой бумаги.

Он поднял наконец лицо, залитое слезами, и с негодованием покачал головою.

Он встал. В чертах его высказалась роковая неизбежная решимость.

- Давно... - прошептал он горестно.

- В последний раз, - прибавил он чрез минуту. Он зарыдал и упал на колена.

- Нет! - вскричал он почти громко, с отчаянием махнувши рукой, и встал.

Он быстро вышел.

Долго оставалась пустою комната, - и что-то таинственно-торжественное было в этой пустоте.

Наконец послышался звон колокольчика, и через минуту вошел в кабинет Званинцев.

Он сел на кресла у стола, и первый взгляд его упал на незасохшее еще письмо Антоши, залитое слезами.

Званинцев схватил его и, пробежавши быстро, судорожно сжал в руке, на челе его выступил холодный пот.

Вот что писал ему Антоша:

"Друг, брат, отец мой!.. ты вырвал меня из омута, но ты не мог возвратить мне моего прошедшего. Я хотел быть выше всех, я не был равен с тобою, я любил снова... но, не имея силы быть в любви властелином, я не хочу быть рабом. К чему жить, когда я не умею властвовать жизнию... Быть может, есть иные сферы, где все, что сдавлено земною оболочкой, найдет простор и широкие размеры. Ты сам учил меня, что в человеке сокрыта целая вселенная. Прощай: жизнь моя была гадка, - смерть будет торжественна. Ты меня любил - пожалей обо мне.

Есть души, которым в самом деле неловко в своих сосудах, потому, может быть, что эти сосуды повреждены.

Мира, мира просите им, этим бедным душам".

Званинцев тихо сложил письмо и сказал:

- Patet exitus!

Он приехал с обручения Севского и Лидии.

Эпизод третий

СОЗДАНИЕ ЖЕНЩИНЫ

On ne fait le bien, qu'en faisant le mal.

Correspondence inedite. {\*}

{\* Не сотворишь добра, не сделав зла.

Неизданная переписка (франц.).}

Было десять часов утра. В гостиной Севской полусонная рыжая девка стояла с половой щеткой в левой руке посередине комнаты. Правой рукою почесывая нос, она смотрела бесцельно мутными, заспанными глазами в угол комнаты. Белые сторы окон не были еще подняты, на ясное, зимнее солнце пробивалось и через них своим холодным светом; на круглом столе церед диваном стоял уже самовар и кипел, распространяя по комнате не слишком благовонный запах угольев.

И долго бы простояла еще в сладком полузабвении рыжая девка, если бы из него не вывела ее полновесная пощечина.

Девка только обернулась, нисколько не удивляясь, по-видимому, приветствию. Перед ней была Варвара Андреевна, в черном демикотоновом капоте, в спальном чепце. Даже черты лица самой Варвары Андреевны, искривленные всегдашним болезненным страданием, не выразили ни досады, ни гнева в ту минуту, когда ее бледная, костлявая, иссохшая рука давала обычную оплеуху.

Девка флегматически принялась двигать щеткою по полу.

- А чашки? - закричала Варвара Андреевна, садясь на диван перед, самоваром.

Девка машинально подошла к дверям.

- Форточку опять не отворяла, бестия! - остановила ее Варвара Андреевна, - опять накурила самоваром... Ох, ох! тошно... я и так уж мученица, и без того голова болит, ох, ох!..

Девка мимоходом коснулась рукою форточки.

- Простуди еще меня теперь, - закричала Варвара Андреевна, с яростию подымаясь с дивана. - Спирту дай поскорее, мерзавка... да чашки-чашки...

Девка была уже за дверями гостиной.

Варвара Андреевна взглянула кругом себя, в ее лихорадочно сверкавших глазах выразилось глубокое, сдавленное страдание.

- Митя, - прошептала она глухо.

По ее впалым щекам покатилась слеза. Она задумалась, она не обратила даже внимания на то, что рыжая девка, вместо двух чашек, принесла только одну, почти бессознательно положила две ложечки чел в чайник и поставила его на комфорку самовара.

Она была жалка в эту минуту - кругом ее, бедной, больной женщины все дышало одиночеством и тоской безысходною.

Она сняла чайник с комфорки и налила себе чашку.

- Где же другая чашка! - спросила она с гневом, уставивши свои впалые глаза на девку.

- Да я не поставила, - отвечала та, глупо улыбаясь... - Ушли-с.

- Кто ушли?

- Дмитрий-то Николаевич-с... к невесте ушли-с, так и сказать приказали-с, они, мол, скоро будут.

- К невесте ушел, - повторила про себя Варвара Андреевна качая головой... - вот оно... то ли еще будет!.. Посмотреть на него не дают, - вскричала она громко с отчаянием... - И я... не смей сказать слова, - прошептала она с тихой сосредоточенной желчью, - не смей слова сказать, от моих слов, вишь, он болен, умрет! Ох, Иван Александрович, бог тебе судья!

Она истерически зарыдала...

Увы! Она ведь была тоже права по-своему, бедная, больная и злая женщина. Есть характеры, которые не могут жить на свете без того чтобы подле них не было существа, которое бы они любили и которое бы они терзали... Они ведь тоже любят, эти болезненные природы, любя до того, что в состоянии сами уничтожиться, уморивши любимое существо. Странная, грустная загадка, эти природы, загадка, объясняема; только общественными условиями, в которые они поставлены. В самом деле, чем виновата эта мать, которая мучит своего сына? Ведь она мучит его от беспредельной любви к нему, ведь она по-своему хочет даже добра ему? ведь она - \_мать!\_ Эта женщина любит до того, что она, пожалуй отречется от своего права мучить другое существо, но она умрет, как змея, у которой вырвали ее жало.

Долго еще припадки истерики мучили Варвару Андреевну.

Пробило 12 часов - в передней раздался звон колокольчика.

- Это он, - сказала она шепотом, поправляя чепец и садясь на край дивана.

В самом деле, через минуту вошел Дмитрий; он был весел, на его лице было просветление, на щеках играл румянец, так и видно было, что ему хочется кому-нибудь передать все, что наполняло грудь его беспредельной, удушливой радостью.

Он быстро подошел к матери и с любовью поцеловал ее руку.

- Здравствуй, Митя, - кротко сказала ему больная женщина, удерживая его руку и поднимая на него свой впалый, грустный взгляд. - Здорова ли Лидия? - как будто нехотя проговорила она, после минуты молчания.

Есть что-то глубоко унизительное для человека в принужденном участии, есть что-то страшно тяжелое в вынужденном великодушии людей близких к ним, есть, наконец, что-то отравляющее всякую радость в жертве, которую делают для человека люди слабее, ниже его.

- Маменька, вы плакали?... - спросил Севский, не отвечая на вопрос и опуская глаза в землю.

- Я? о нет, Митя, нет, дружочек мой, я не плакала, я ведь обещала тебе, что не буду плакать... я не плакала, - скорбным, дрожащим от внутреннего раздражения голосом говорила Варвара Андреевна, отирая белым платком свои красные, больные глаза.

Дмитрий взглянул на нее... сердце поворотилось в его груди.

- О боже мой! - вскричал он с ропотом и отчаянием, стиснувши голову руками, - и зарыдал, не имея сил сказать ничего больше. Варвара Андреевна вскочила с места и, крепко охвативши его руками, залила его лоб потоком сдавленных, жгучих слез.

- Митя, Митя, - рыдала она, - не умирай, голубчик мой, Митя... не умирай, я буду любить ее, слышишь ли! она будет хозяйкою в доме, я готова быть твоей кухаркой, ее кухаркой, из любви к тебе, я на все готова, на все, я всем пожертвую, - что ж? уж целый век я была мученица.

Бедная женщина, она не понимала, что каждое слово ее способно было резать как нож, что самая страстная любовь ее была отвратительным эгоизмом, что она не могла даже пожертвовать ничем, сама не оценивши наперед и не выставивши на вид всей великости жертвы.

Ни мать, ни сын не слыхали, как вновь зазвенел колокольчик и как вслед за тем вошел в гостиную Званинцев. Он остановился в дверях и, сложивши на груди руки, с немою, зловещею улыбкою смотрел на эту сцену.

Варвара Андреевна увидала его первая и с криком упала на диван, закрывши лицо руками.

Севский с скорбным, умоляющим выражением поднял на него глаза. Званинцев молча пожал его руку и, севши на кресла против него, закурил сигару.

- Дайте мне стакан чаю, Варвара Андреевна, - сказал он спокойно. Болезненная краска выступила на впалых щеках Севской, но она повиновалась ему, робко опуская глаза перед его холодным взглядом. Это. было нечто вроде сцен покойного фан Амбурга с гиенами.

- Когда ваша свадьба, Севский? - спросил он.

- Не знаю, - отвечал молодой человек, неподвижно уставивши глаза в пол.

- \_Вероятно\_, назначение дня зависит от вас, Варвара Андреевна, - обратился Званинцев к матери, - пожалуйста, поторопитесь, чем скорее, тем лучше; Дмитрий Николаевич до свадьбы не способен ничего делать, а место помощника Воловского не может долго быть вакантно... Он мне это сам говорил.

- Когда же? - дрожащим голосом спросила Варвара Андреевна, не смея поднять глаз.

- Не знаю, когда хотите, - спокойно отвечал Званинцев.

- Через неделю, - с усилием сказала Севская, поднимаясь с дивана.

- Ровно через неделю? у нас сегодня вторник, кажется? - обратился Званинцев к молодому человеку.

Дмитрий молчал.

Варвара Андреевна вышла из гостиной.

Севский быстро поднял глаза на Званинцева.

- Иван Александрович, - сказал он, подавляя неприятное впечатление, которое всегда испытывал от его взгляда, - научите меня, что мне делать?

Званинцев улыбнулся.

- Вы знаете, мой милый, я никогда не даю советов, - сказал он холодно.

- Боже мой, боже мой - что ждет меня в будущем? - с отчаянием говорил про себя молодой человек, ходя по комнате.

- Что же? вы хотели жениться на Лидии, вы на ней женитесь, - полунасмешливо начал Званинцев.

- Иван Александрович, - прервал его Севский, подходя к нему и взявши его руку, - сжальтесь надо мною... но что я говорю вам? к чему я говорю это вам, - продолжал он с отчаянием, - у вас нет сердца... или нет, нет, простите меня, я не знаю сам, что я говорю, вы мне сделали так много добра.

- Не я - обстоятельства.

- Ну, положим, положим так даже: вы не хотите моей благодарности, вам она оскорбительна... Но сжальтесь надо мною, что я должен делать?

- Ничего, кроме того, что вы можете.

Лицо Званинцева было спокойно, как облик сфинкса, - тщетно искали бы вы на нем хотя тени человеческого сочувствия.

Севский отступил с невольным ужасом и сел на кресла мрачный, бледный, как преступник, которому прочли приговор.

- Да, - сказал он наконец сухим, горячим тоном, - да, я знаю, что унизился до того, чтобы быть вам обязанным, что вы играли мной как ребенком.

- Я? - холодно прервал Званинцев, отряхивая сигару.

- Вы или обстоятельства, не все ли мне равно?.. Я уже подлец, довольно этого, - я ненавижу их, ненавижу вас... чего еще вам надобно?.. чтобы я был палачом?..

- Слушайте же, - тихо начал Званинцев, устремивши на него грозный, зловещий взгляд, - слушайте же, безумный, вы еще не все знаете, вы еще и не воображаете всех мук и пыток, которые ждут вас в будущем, вы еще не хотите верить, что каждое утро будет вам отравлено, что каждый вечер вы будете терзаться пыткой...

- О! - простонал молодой человек, сжимая голову руками.

- Вы забыли, что любовь не любовь, если она разделена, - продолжал Званинцев, - больше еще, вы забыли, что любовь делает свободного человека рабом, который повсюду волочит за собою свою цепь... вы забыли это все, - а я это знал и знаю.

- И что же?

- Всякому дано действовать по силам. Я отрекся действовать, - я предоставляю людей их собственному произволу. Чему устоять - то устоит, чему погибнуть - то погибнет.

И, взявши шляпу, Званинцев тихо вышел из комнаты...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пойдемте теперь со мною, читатель, в один из самых отдаленных переулков Литейной части, в низенький, наклонившийся немного набок домик, выкрашенный дикою краской, снабженный даже ставнями у окон, как будто нарочно для того, чтобы живее напоминать подобные же московские дома. Кругом его, тоже для большего сходства, пустыри и огороды, но в этих пустырях и огородах слышится не размашисто-заунывная песня русского человека, а несносный чухонский вой.

В этом домике жил Александр Иваныч Брага, приятель Севского, тот самый Александр Иванович, вследствие слов которого автор этого рассказа когда-то познакомился с Виталиным, о чем в свое время и в своем месте рассказывал своим читателям.

Комната, в которой жил Александр Иванович, была пуста и мала; все в ней дышало каким-то вечным приготовлением к путешествию, в ней не было ничего, кроме кушетки, стола подле нее и чемодана, который валялся в углу. Над кушеткою висела пара пистолетов; сам Александр Иваныч лежал на кушетке, в ермолке, прекрасно вышитой серебром по бархату, которой он не покидал никогда дома. Эта ермолка да чубук с бисерным чехлом пользовались особенной его привязанностью, хотя ермолка порядочно уже поистаскалась, а из чубука Александр Иваныч никогда не курил, предпочитая трубке сигару. Было ли это воспоминание о какой-нибудь хорошенькой кузине или подарок бедной обольщенной невинности - и когда и как подарены были, этот чехол и эта ермолка? в светлый ли праздник, вместе с поцелуем свежего, розовенького ротика, за семейным ли самоваром, с первой чашкой чаю, налитого миленькой девочкой с заспанными глазками, в день ли ангела, при страстной записке с орфографическими ошибками? Дело в том только, что чехол и ермолка были драгоценностями для моего приятеля, они с ним не расставались давно уже, с турецкого похода, в котором он служил волонтером и для которого он в первый раз покинул кров родимого украинского хутора. Зачем он его покинул? зачем не дал он овладеть собою лени и беспечности южного человека?

Александр Иванович лежал и читал, в десятый раз, кажется, письмо знакомого гвардейского офицера, делая карандашом на довольно широких полях почтового листка в четвертку остроумные замечания, вроде следующего, по поводу упоминания в письме \_херсонского трактира\_: "Херсонский, - отметил Александр Иваныч, - трактир вовсе не дурной - бильярт только крив немного", потом по поводу слова \_спустил\_ - хотел было спросить: "в коротенькую?" но, увидавши, что слово "спустил" было употреблено в другом отношении, только презрительно улыбнулся. Углубившись в чтение интересного письма, он и не видал, как отворилась дверь и как вошел к нему Севский.

- Здравствуйте, Александр Иваныч, - сказал ему молодой человек, - я вас насилу нашел.

-А, Дмитрий Николаич! Добро пожаловать! - весело приветствовал его Брага, спуская ноги с кушетки и приглашая Севского садиться... - Что это с вами, мой милый, вы так бледны, - продолжал он, смотря пристально на молодого человека, - уж не нужен ли я?

- Да, да, мой добрый друг, вы мне нужны, очень нужны, - отвечал с жаром Севский, крепко пожимая его руку.

- Вот оно что! - с невольной радостью перервал Брага, и рука его протянулась к пистолетам.

- Нет, не за этим, - сказал Севский, останавливая его руку.

- А! не за этим еще!.. - так зачем же?.. - почти с досадою проговорил мой приятель, - на кой черт я гожусь еще?.. Скажите, - продолжал он, - отчего я не вижу вас более месяца?.. да, именно больше месяца, с того самого вечера, когда на балу у Мензбира вы готовы были съесть Званинцева?

- Званинцев - человек благородный, Александр Иванович, - принужденно отвечал Севский.

- А! так это правда? - быстро перебил Брага.

- Что правда? - с смущением спросил Севский.

- Да то, что я слышал, - с досадой отвечал Брага, - что вы женитесь на Лидии.

- Это правда.

- Что, Званинцев уладил ваши дела?

- Да.

- Что, он вам дает выгодное место? - спрашивал Александр Иваныч с возрастающим негодованием.

- Все это правда, друг мой, - отвечал Севский, грустно склоняя голову.

- Так зачем же нужен вам я?.. - сказал Брага с ледяною холодностью.

- Я несчастен, я болен, Александр Иванович, - с нервическою дрожью говорил Севский, - я пришел к вам, потому что вы человек, потому что у вас есть сердце.

Брага махнул рукою...

- Ну! - сказал он наконец, - я ведь это знал... да что с вами будешь делать? тряпка вы, а не человек, ребенок, бесхарактерное существо, которому непременно нужно кого-нибудь, кто бы его водил за нос. Эх! - продолжал он вздохнувши, - говорил я вам, что эта девчонка...

- Александр Иваныч! - прервал Севский.

- Ну!.. хоть не говорил я вам по крайней мере, что малейшая уступка с вашей стороны Званинцеву унизит вас, погубит просто. Не говорил ли я вам, что я знаю этого человека, что я его ненавижу столько же, сколько я люблю вас, мой бедный друг, мой добрый ребенок. И хотите ли вы знать, за что я его ненавижу?

Севский молчал, Брага закурил регалию и закашлялся.

- Я давно не вспоминал об этом, я не говорил никому об этом, - начал Брага, - но ведь должны же вы убедиться, что в этом человеке, что в \_этих людях\_ нет сердца, вовсе нет сердца. Умирайте от жажды подле него, он не подаст вам пить, - его слова довольно будет для того, чтобы спасти человека от позора, и он этого слова не скажет... Видите ли, я был еще почти ребенком, когда вступил в волонтеры - ну что еще?.. мне было восьмнадцать лет, только восьмнадцать лет... у казначея полка, где я служил, была жена... черт задави мою душу, если я забуду когда-нибудь эту женщину... Волосы, что это за волосы: густые, смоляные волосы, которые только целовать бы, целовать бы целую жизнь! Эх!

Брага ударил кулаком по столу.

- Муж был стар, - продолжал он с возрастающим жаром... - она меня любила, черт меня побери - как я ее любил... В это время мы встретились с Званинцевым... он был переведен к нам из другого полка, он был уже штаб-ротмистром, и недавно получил Георгия... Я скоро заметил, что моя казначейша о нем расспрашивает. Опять повторяю: я был молод и, следовательно, глуп, как пешка... до сих пор не прощу себе глупости и подлости, которую я тогда сделал... Я зашел к Званинцеву, с которым еще едва был знаком. Зачем - вы думаете? эх! мне даже теперь стыдно.

Брага закрыл лицо руками и молчал с минуту. Лицо его горело.

- Я ему сказал: вы честный человек, штаб-ротмистр?.. Он только насмешливо посмотрел на меня, но не сказал ни слова. Тут бы мне и остановиться! так нет, черт меня дернул за язык. - Любили вы? - спросил я его. "Может быть", - отвечал он зевнувши. Я сказал ему все. - Что же из этого мне? - спросил Званинцев... Остановиться было уж нельзя - я продолжал: Званинцев расхохотался... "Ну, - сказал он, насмешливо улыбнувшись, - вы поступили ужасно неблагоразумно, молодой человек, - почем бы я знал, что ваша казначейша мной интересуется? благодарю вас за новость, а мне, признаюсь, стало уж скучно здесь без дела...". Вспомните, что всякую новую, мерзость, которую этот человек сделает, он называет делом... Я вспылил, я предложил ему драться. "Извольте, - отвечал мне спокойно Званинцев, - но вспомните, что я не обязан скрывать причины, которая заставляет вас драться...". Я замолчал, я был уничтожен этим бесстыдством, для которого не свята даже честь женщины. - Я вас презираю, - сказал я наконец. "Как угодно", - отвечал он, спокойно закуривая сигару... Я вышел.

- И потом? - с трепетом прервал Севский.

- Потом! - Брага махнул рукою.

- Ваша казначейша? - спросил молодой человек.

- Ушла от мужа.

- С вами?

- С ним.

Брага долго смотрел в потолок.

- Я встретил ее здесь, - медленно, как бы с трудом проговорил он через минуту... - Встретил так, что кровь прилила у меня к сердцу, когда я ее увидел... Вот до чего довел ее этот человек... Понимаете ли вы теперь, что у него нет сердца, что для него нет никаких границ?

Севский молчал, с отчаянием ломая руки.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В этот день у Мензбира был один из обыкновенных карточных вечеров; в половине восьмого зеленые столы были уже открыты. Мензбир, потирая руки, похаживал по желтой комнате и беспрестанно смотрел на часы. На лице его заметно было беспокойство, смешанное с каким-то страхом.

Часы пробили восемь. В дверях появилась чья-то физиономия. Мензбир остановился посередине комнаты.

Половинка дверей совершенно отворилась, и в комнату смелым и решительным шагом вошел мужчина лет 45-ти, с рыжими бакенбардами, в сюртуке, застегнутом доверху.

- Здравствуйте, барон, - медовым голосом начал Мензбир, - я вас жду давно.

- Здравствуйте, - грубо отвечал барон, - я пришел сегодня требовать решительного ответа... Слышите ли?..

- Тише, барон, пожалуйста, тише, - прошептал Мензбир, - вы меня погубите...

- А мне какое дело, - сказал тот, нарочно усиливая голос... - Я буду всем и каждому рассказывать...

- Барон!

- Я буду всем и каждому рассказывать, что меня обыгрывали наверную... Я на это имею доказательства, вы знаете? - продолжал барон, грозно взглядывая на Мензбира, которого лицо судорожно сжалось.

- Но за что же, за что же? - бормотал он жалобным тоном.

- Что я позволял себя обыгрывать, потому что вы обещали мне.

- Барон, барон!

- Черт меня возьми, если я не скажу этого! Мензбир наклонился к уху барона и что-то шепнул ему. Лицо барона просияло.

- Ну, если так, - сказал он... - Впрочем, мы увидим. Завтра, говорите вы?

- Да.

- А тетка?

Мензбир снова шепнул что-то барону. Тот расхохотался.

- Вы, Мензбир, драгоценный человек, - сказал он наконец, пожавши руку старика и садясь на стул.

Мензбир только улыбнулся.

- Что Званинцев, - сказал барон, закуривая сигару, - у вас будет сегодня?

- Не знаю, обещал.

- А жених? - насмешливо спросил барон.

- Ну! этот наверно будет, - отвечал Мензбир.

Через минуту вошло несколько гостей, которыми Мензбир принужден был заняться. Барон сидел один у стола, куря сигару и смотря на затворенную дверь гостиной.

Дверь наконец отворилась, и вошла Лидия, в простом белом платье, без всяких театральных украшений: какая-то грусть разлита была по всему ее существу. Она, по-видимому, с изумлением увидала барона и, сухо поклонившись ему, села у окна, с нетерпением поглядывая на двери передней.

Барон не подходил к ней.

В передней послышался наконец шум. Лидия украдкою взглянула, но почти тотчас же ее маленькая головка приняла прежнее, рассеянное положение.

В залу вошел Севский и с ним Александр Иваныч. Севский с явным почти неудовольствием пожал руку Мензбира, который встретил его с распростертыми объятьями, и, слегка кивнувши головою другим гостям, рука об руку с Брагой подошел к своей невесте.

Она холодно протянула ему свою руку.

- Я опоздал, Лиди, - сказал он, целуя руку девушки, - но мне хотелось сегодня привезти с собою моего \_лучшего\_ друга, рекомендую его вам.

Брага поклонился. Лидия привстала.

- Вы знаете, - обратилась она довольно сухо к молодому человеку, - что ваши друзья должны быть моими. Садитесь, - что нового? - рассеянно спросила она, указывая ему и Браге на два порожних стула возле себя... - Что ваша матушка? - сказала она, поправляя вопрос.

- Она к вам будет сегодня, Лиди.

- Как? вы оставили ее одну? - с укором сказала девушка.

- Она приедет с Иваном Александровичем, - отвечал Севский. Лидия отвернулась к окну.

- Вы мне позволите закурить сигару, - обратился к ней Брага, доставая из кармана porte-cigares. {портсигар (франц.).}

- Прошу вас... ах, боже, Дмитрий Николаич, - быстро сказала девушка, - что же я вас просила достать мне Babu-polka?

- Виноват, Лидия, забыл, ей-богу, забыл, - чуть не умоляющим голосом отвечал Севский, приподнимаясь с своего стула, - забыл, как забыл еще другое очень важное.

И он взял шляпу.

- Куда же вы? - спросила его Лидия довольно равнодушно.

- Я возвращусь через полчаса.

И, не дожидаясь ответа, Севский быстро вышел из комнаты. Лидия Сергеевна выставила вперед нижнюю губку.

- Бьюсь об заклад, - начал Брага шутливым тоном, - что ваш жених поскакал за полькой.

- Вы думаете? - холодно спросила Лидия, обернувшись прямо к нему и обливая его фосфорическим светом своих глаз.

- Я в этом уверен. Он влюблен.

- Только во мне он ошибается, - равнодушно заметила Лидия.

- Как это?

- Я не люблю, чтобы мне повиновались.

- Стало быть, вы хотите сами повиноваться?

- Может быть, - отвечала девочка, мечтательно закидывая головку. И из груди ее вырвался невольный вздох.

- Знаете ли что, Лидия Сергеевна, - начал Брага, смотря ей в глаза пристально и прямо, - ведь он вас больше любит, чем вы его.

Лидия принужденно захохотала.

- Извините за откровенность, - продолжал Брага, - но я знаю это - он для вас всех пожертвует, а вы...

- Почему ж вы думаете, что я ничем для него не пожертвую? - быстро перебила Лидия, отворачиваясь от его взгляда.

- Почему?.. Этого я вам не скажу, - я говорю только о нем и о нем я имею право говорить, я его друг.

- Да, у него много друзей, - немного насмешливо заметила Лидия, поправляя мыс своего платья.

- Кто же?

- Вы, - сжавши губки, отвечала Лидия, - Иван Александрович, - продолжала она, как будто робея произнести это имя.

- А знаете ли вы, что такое дружба Ивана Александровича? - неожиданно серьезно перервал Брага.

По лицу Лидии молнией пробежало чувство страха.

- Не смотрите на меня так странно, Лидия Сергеевна, - продолжал Брага с горячностью, - если вы любите вашего жениха, бойтесь за него дружбы Званинцева. Вспомните Позвонцева.

Лидия вздрогнула, но, победивши себя, отвечала с холодностию, которая всякого заставит прекратить разговор:

- Да, у Ивана Александровича много врагов, о нем говорят много дурного, но вспомните, что мой жених обязан ему всем.

Брага встал со стула с видимым негодованием и подсел к одному из карточных столов.

Лидия осталась одна и продолжала украдкою глядеть на дверь передней.

Барон, который во все это время сидел у окна и курил сигару, поглядывая с беспокойством на Брагу и на Лидию, наконец решился подойти к ней.

- Лидия Сергеевна! - начал он нерешительным голосом.

Лидия, выведенная из задумчивости, вздрогнула и быстро приподняла головку.

- Это вы, барон, - сказала она гордо и почти презрительно, - я вас не ожидала сегодня.

- То есть - я лишний? - глухо проворчал барон.

- Мои слова не требуют пояснений, - твердо сказала Лидия, поднимаясь со стула и решаясь снова уйти в гостиную.

- Лидия, - прошептал барон с стесненною яростью, останавливая ее за руку, - вы шутили с огнем, берегитесь.

- Кто же шутил с вами?

- Вы, вы, Лидия Сергеевна.

Лидия уже была на пороге гостиной, но в эту минуту отворилась дверь залы, и Званинцев, слегка кивнувши головою гостям и хозяину, шел прямо к ней, ведя под руку Варвару Андревну Севскую.

Варвара Андревна была очаровательно любезна, когда только хотела быть такою. В этот вечер вкус и почти роскошь ее костюма, тихая, благородная походка, улыбка на губах - все говорило, что она решилась разыграть роль нежно любящей матери. Званинцев тоже был одет чрезвычайно парадно, вероятно из уважения к своей даме.

- Ma chere enfant, {Дорогая моя девочка (франц.).} - начала Варвара Андревна, протягивая руку к девочке, немного смущенной ее появлением в эту минуту.

Лидия молча поцеловала ее руку и поставила большие кресла.

- Отчего ты так бледна сегодня? - ласково спросила Севская, касаясь тихо своей бледной рукой прозрачных щек Лидии. - А где же Митя?..

- Он уехал, Maman, - отвечала робко Лидия.

- Уехал? - спросила мать.

- Он через четверть часа будет, - заметил громко Брага. Услыхавши его голос, Севская довольно презрительно взглянула на него в лорнетку.

- Кто это? - спросила она Лидию.

- Друг Дмитрия Николаевича, - отвечала та, опуская глаза в землю.

- Да, помню... он к Мите ходит - пустой человек, - заметила Севская, - хоть бы ты, мой ангел, - обратилась она к Лидии, - поговорила Митеньке, что странно ему связываться с разными пустыми людьми... тебя он больше послушает? Не правда ли, Иван Александрович?

- О чем вы говорите? - сказал Званинцев, который в эту минуту пристально глядел на Брагу.

- Я говорю... - начала было Севская, - да вот и Митенька, - сказала она, видя входившего сына.

Дмитрий быстро подошел к матери и поцеловал ее руку - потом, подавая Лидии сверток:

- Вот Babu-polka, Лидия, - сказал он тихо.

Лидия взяла сверток и отвечала обычной благодарностью.

- Вы за этим и ездили? - равнодушно спросил Званинцев, указывая на сверток.

- Да.

- Делает вам много чести, - заметил Иван Александрович с полуулыбкою.

- Это-то хорошо, - привязалась мать, не понявши легкой насмешки Званинцева, - это-то хорошо, Митя, да вот что нехорошо, и Лидинька, верно, скажет, что нехорошо: зачем ты не оставишь знакомства с разными пустыми людьми, всему свое время, голубчик мой: теперь ты будешь женат... хорошо ли?..

- С какими пустыми людьми, маменька? - спросил побледневший Севский.

- Да нет, хоть с этим-то, - ответила мать, нагло лорнируя Брагу. Севский вспыхнул и прежде всего взглянул на Званинцева, но гордая

и спокойная физиономия этого человека заставила его опустить глаза в землю.

- Я думаю, - важным и звучным голосом сказал Званинцев, - что ваш сын в таких летах, Варвара Андревна, что сам имеет полное право избирать себе связи...

- Ох, батюшка, - заметила Севская, - ты все по-своему судишь, и по твоему-то хорошо - да каково-то будет нам с Лидочкой? - прибавила она, целуя Лидию в голову и чуть не плача, потому что эта женщина способна была плакать когда, где и как угодно.

На губах Званинцева мелькнула змеиная улыбка демона, который видит, как хорошо сети опутали жертву.

Севский молчал, он был убит: он видел в будущем наступательные и оборонительные союзы матери, то с Званинцевым против Лидии, то с Лидиею, с его будущей женою, против него самого, - он видел всю эту семейную трагедию, он знал, что Званинцев видит это еще лучше его, и не имел права обвинить этого \_благородного, великодушного\_ человека. Да и как сметь обвинять его? Он защищал его свободу, он, этот гордый человек, для него выносил капризы его больной матери, он, наконец, этот игрок Званинцев, сел с нею и с каким-то стариком с Анною на шее за копеечный преферанс.

Лидия и Севский снова остались одни.

- Что вы скажете, Лидия? - грустно обратился к ней молодой человек, опираясь руками на спинку ее кресла.

- Послушайте, Дмитрий, - отвечала ему она, - вы иногда не правы перед вашей матушкой.

- Так, я это знал, - с отчаянием прошептал молодой человек, - и вы - против меня?

- Против вас?.. я? - возразила Лидия своим серебряным голосом; - вы ребенок! вы не хотите слушать людей, которые желают вам добра.

- Кого ж это? не Званинцева ли?

- Неужели вы не благодарны, Севский? - возразила Лидия с тихим укором.

- Этого еще недоставало! - почти с бешенством сказал тот. - О да, я несчастен, - начал он после минуты молчания.

- Воображением, - холодно добавила его невеста.

- Вы слышали о Позвонцеве? - спросил Севский мрачно и глухо.

- Это не ваши слова, Дмитрий Николаич, - насмешливо отвечала молодая девушка, - это - слова вашего \_друга\_.

- Лидия...

- Вы сердитесь?

- Он вам не нравится?

- Кто?

- Тот, кого вы с насмешкою назвали моим \_другом\_.

- Скажу вам откровенно - \_да\_.

Севский опустил голову и почти коснулся обнаженного плеча своей зевесты, с которого спустился нечаянно легкий газовый шарф.

- Лидия... - сказал он страстным шепотом, - вы \_хотите\_, чтобы я разорвал связи с моим лучшим другом?

- Я ничего не хочу, Дмитрий Николаевич, - холодно сказала его аевеста, выставя вперед нижнюю губку и поправляя спустившийся газ.

- Вы хотите этого? да говорите же, Лидия, - умоляющим тоном сказал снова Севский.

Лидия улыбнулась ему обаятельною, обещающею целую бездну наслаждений улыбкою.

- Лиди, вы знаете, - я раб вашей воли, - отвечал на эту улыбку молодой человек и в забытьи страсти снова склонился головою к ее плечу. Бедная голова его! Она горела, от нее было жарко даже Лидии.

А она отвернулась в сторону, чтобы скрыть презрительную улыбку. Она оборотилась только тогда, когда сквозь газ почувствовала на своем плече горячий поцелуй молодого человека.

- Севский! - сказала она с укором.

- Разве вы не \_моя\_, Лиди, - сказал ей Севский, сжавши ее руку, - разве вы не моя жена, моя сестра, моя подруга...

- Дитя вы, Севский, - рассеянно прервала его девушка, освобождая из рук его свою руку.

Это равнодушие обдало его холодом. Мрачный и грустный, он подошел к столу, за которым сидела его мать и Званинцев. Мать его ставила ремизы и бесилась.

- С вами нельзя играть, мой батюшка, - обратилась она к Званинцеву, который объявил игру без козырей.

- Да - я счастлив, - беззаботно заметил тот.

- Дайте мне сыграть за вас следующую игру! - обратился к нему Севский.

- За меня? - пожалуй, - отвечал тот, - только заметьте, молодой человек, - прибавил он с улыбкою, - что играть за себя я позволяю только в картах.

И, обремизивши опять Варвару Андревну, которая пошла вистовать с приглашением, он встал со стула, уступивши место Севскому, мимоходом взял карту в лото и, закуривши сигару, подошел к Лидии.

- Зачем у вас барон сегодня? - спросил он ее.

- Не знаю, - отвечала Лидия с невольным смущением.

- За что вы прогнали вашего жениха? - снова спросил он беспечно, разваливаясь подле Лидии в больших креслах, в которых сидела прежде Варвара Андревна.

- Я его не прогоняла, - отвечала, судорожно смеясь, девушка.

- Ну, удался ли ваш наступательный союз с Варварой Андревной? - еще спросил он, показывая сигарою на печально сидевшего у окна в противуположном углу Александра Иваныча.

- Вам это лучше знать, - отвечала Лидия с тем же судорожным смехом.

- Вы, кажется, думаете, что я всемогущ?

- Почти, - сказала Лидия, опуская головку.

- Помилуйте, я играю всегда роль примирителя или ровно ничего не делаю.

- Вы выиграли, Иван Александрович! - вскричал в эту минуту Мензбир со стола, где играли в лото.

Лиди вздрогнула. Для нее чем-то роковым и странным показался этот выигрыш.

Званинцев погладил правою рукой свою черную бороду.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Снежная вьюга крутилась вихрем и стучала в окно маленького домика в одной из самых отдаленных линий Васильевского острова.

По небольшой комнате, на обветшалых и грязных стенах которой развешаны были старинные портреты Петра II и Екатерины 1-й, ходил неровными шагами знакомец наш барон. Он был, по-видимому, в сильном лихорадочном волнении и беспрестанно смотрел на часы.

- Сударыня, - вскричал он наконец с нетерпением в щель двери другой комнаты, - сударыня!

- Что, батюшка? - отвечал оттуда дряблый и визгливый голос.

- Если меня еще обманули, - сказал барон, - то черт задави мою душу...

В комнате сильно плюнули на пол.

- Фу ты батюшки, ругатель какой, - завизжал там тот же голос, - да уж говорят тебе, батюшка, что будет. Ведь еще семи нет.

Барон заходил по комнате.

Минут через десять на дворе послышался лай собак.

- Спрячьтесь, батюшка, спрячьтесь, - закричал женский голос из комнаты, и барон, дрожа от внутреннего волнения, поспешил укрыться за большим деревянным шкафом с платьем.

В комнату вбежала Лидия, вся закутанная в меховой салоп и засыпанная вьюгой; она быстро порхнула в дверь, из которой женский голос разговаривал с бароном.

Барон вышел из-за шкафа.

Страшно и отвратительно было бы постороннему взглянуть на него в эту минуту, лицо его было покрыто смертною бледностью и обрамлено щетиной поднявшихся дыбом рыжих волос, по временам яркий румянец пятнами вспыхивал на этих синеватых щеках, изобличая внутреннее волнение и присутствие чахотки; ноги его ходили ходуном, как говорят русские, руки судорожно тряслись.

Он подошел к двери и стал смотреть в щель. Чем больше смотрел он, тем сильнее становилось его волнение, тем ярче и жарче выходили на щеках его пятна, сделавшиеся наконец кровавыми. Еще минута и он упал бы, кажется, в страшных судорогах.

Он наконец сжал ручку двери - и дверь отворилась.

В комнате Лидия одна полулежала на канапе - перед нею было разложено несколько только что сшитых платьев, из которых одно, только что скинутое, упало к ее ногам.

Крик ужаса вырвался у нее при появлении барона. Она хотела было привстать - но, повинуясь голосу стыда, закрылась только и прижалась к углу камина.

- Тетушка!.. - закричала она. Барон улыбнулся бесстыдной улыбкою.

Лидия посмотрела вокруг себя с ужасом. Она была одна в комнате, двери в спальню тетки были заперты изнутри задвижкою.

- Лидия, - с судорожным трепетом начал барон, приближаясь на два шага, - вас не спасет никто и ничто... вы в моих руках, в моих, Лидия.

Бедная девочка ломала руки с отчаяния: гнусная предусмотрительность не оставила кругом ее ничего, чем бы можно было защититься. Барон сделал еще шаг.

- Вы меня знаете, - продолжал он, - знаете, что я не шучу, со мной шутили долго, да нельзя же шутить вечно.

Лидия отвернулась с отвращением.

Она молчала, - она знала, что перед нею не человек, а раздраженный зверь... Но она почувствовала прикосновение чужой руки.

Она вскочила и по невольному чувству сжала руки с умоляющим видом.

- Барон, барон... - говорила она.

За дверями комнаты послышался смех, перерываемый кашлем.

- Перестаньте дурачиться, - сказал барон, успевши наконец совладеть с собою и придавая тону своих слов самую невозмутимую холодность, - вы в моих руках, я это сказал вам.

Слова его были прерваны сильным лаем собак на дворе. Лидия бросилась к окну.

Барон удержал ее и обхватил своими жилистыми руками. Между зверем и девочкой началась тогда борьба. Гибкая, как пантера, Лидия вырвалась было из его рук, но барон снова схватил ее.

- Лидия, - шептал он, страстно сжимая ее слабые, нежные члены. Сильный удар раздался в эту минуту в дверь комнаты.

Лидия рвалась из рук барона, который обеспамятел и не слыхал ничего.

Еще удар, и ржавые, старые задвижки уступили силе этого удара.

Барон опамятовался, когда сильная рука оттащила его и с презрением бросила, как гадину, на пол.

Лидия забыла даже о беспорядке своей одежды, - с таким благоговением взглянула она на прекрасный, величавый образ, стоявший перед нею с невозмутимым спокойствием.

Ибо это был Званинцев.

Она схватила его руку.

- Оденьтесь, Лидия, - сказал он ей, - и поедемте. Вон! - обратился он к приподнявшемуся с пола барону.

Барон заскрежетал зубами - но, покорно склонивши голову, вышел.

Званинцев тоже оставил девочку.

Через пять минут она вышла в залу совсем одетая.

- Иван Александрович! - сказала она тихо, подходя к нему и схватывая его руку, - вы меня спасли... вы, всегда вы, везде вы... - повторила она с страстным увлечением.

Званинцев взглянул ей в глаза.

- Благодарю вас, - робко прошептала девочка, опуская взгляд.

- Ну, - сказал Званинцев с холодностью, - одно из моих предвещаний сбылось: вас продали.

Лидия отступила с ужасом и провела рукою по лбу, как бы пробудясь от сна и отгоняя прочь призраки.

Потом она спокойно подняла глаза на Званинцева.

Минутное увлечение, под влиянием которого этот человек явился ей в ореоле света, рассеялось от его холодных слов.

Но в этом спокойном взгляде девочки Званинцев прочел немую покорность...

- Куда я должен везти вас, Лидия? - обратился он почтительно к молодой девушке.

- Домой, - прошептала она.

- Вы уверены, что ваш отец не виноват... Лидия зарыдала.

- Иван Александрович, - сказала она с судорожным трепетом, - я поеду к матери Севского?

- Я должен вам сказать, мое бедное дитя, - отвечал Званинцев, смотря на нее с состраданием, - что это более чем невозможно. Что о вас подумают?

- Я расскажу ей все, - сказала Лидия.

- Вам не поверят, - твердо отвечал Званинцев.

Девочка ломала руки.

- Сжальтесь надо мною, Званинцев, - пролепетала наконец она, сжимая его руки, - у меня нет никого на свете... никого... в моего жениха я не верю.

- И не будете верить, когда он будет вашим мужем? - спросил Званинцев, смотря на нее пристально.

- Он никогда не будет моим мужем, - с увлечением вскричала девочка.

- Вы больны, вы в лихорадке, дитя мое.

- Неужели вы думаете, что женщина может любить ребенка? - спросила Лидия, дрожа нервически, но твердо и прямо взглянувши на Званинцева.

- Дело не в том, - отвечал он с полуулыбкою, - куда же мне везти вас?

- К вам, - быстро сказала Лидия.

Званинцев молча поклонился и подал ей руку. Они вышли.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вьюга перестала бурлить... туман редел на небе... рога молодого месяца вырезались из-за облаков. Полозья саней едва шелестели по мягкому новому снегу, лошадь мчалась как стрела.

Морозные ночи севера стоят иногда полуденных ночей.

Лидия дрожала, закутанная в свой легкий салоп... но она дрожала не от холоду. Званинцев заметил это.

- Вам холодно, - сказал он с заботливостью, - давайте я вас закрою, - продолжал он, раскрывая полы своей огромной медвежьей шубы.

Молодая девушка быстро, почти ни минуты не колеблясь, прижалась к нему - он закрыл ее так, что из меха виднелось только ее личико, пылавшее румянцем. То был румянец лихорадочного волнения, ибо он слышал, как неровно и часто стучало ее маленькое сердце на его груди.

- Боюсь, чтобы с вами не было лихорадки, - заметил он, отогревая в своей руке ее тонкие пальцы.

Лидия улыбнулась сквозь слезы.

- О чем же вы плачете, дитя мое? - начал Званинцев, - все это должно пройти для вас, как смутный сон, как бред лихорадки, я отвезу вас к одной почтенной даме, она вас примет как дочь, и верьте мне, что от нее вы можете идти под венец с кем угодно.

- Я никогда не выйду замуж, - прошептала Лидия.

- Ну, если вы хотите, - вы останетесь у нее всегда и постоянно; она - моя тетка, добрая старушка, которая любит меня без памяти, наконец, вы можете вступить на сцену с вашей красотой, с вашим талантом...

Лидия зарыдала и спрятала голову на грудь Званинцева.

- Странный вы ребенок, Лидия, - сказал он кротко. - Вы плачете, как будто что-нибудь потеряли, когда на поверку оказывается, что вы выиграли.

- Да, вы этого не поймете, - вскричала девочка с истерическими рыданиями. - Зачем вы спасли меня, Званинцев?.. кто вас просил обо мне заботиться, - я знаю, что вам все известно, что все эти гнусные люди в вашей власти; но зачем, зачем вы встали над ними так высоко?... Званинцев, Званинцев, - продолжала она голосом умоляющей страсти, - пока вас не было, пока вы не стали ходить к нам, я была иногда счастлива и могла бы быть верной женой... я было полюбила Севского... он был благороден, он был нежен и добр, он был ребенок, как я же, больше меня...

- Чем же я помешал вам? - грустно спросил Званинцев.

- Чем?.. и вы еще спрашиваете... О! не притворяйтесь, бога ради, Иван Александрович, я вас слишком хорошо знаю... вы смеялись надо мною, смеялись над ним.

- Я хотел вам обоим добра.

- Довольны ли вы теперь! - быстро вскричала Лидия, поднимая на него глаза... - Я люблю вас.

- Лидия.

- Постойте, - перервала она его с усилием, - постойте... не говорите ничего... я вас знаю... вы уморили Воловскую... не возражайте, я это знаю... я этому верю... вы любить не можете, ваша любовь - смерть.

- И жизнь, Лидия, - улыбаясь, сказал Званинцев, отстегивая полог саней и внося на руках по лестнице девочку, которая в забытьи обвила своими руками его шею.

Он отпер дверь, потому что не имел никогда привычки, возвращаясь, поздно домой, будить своих людей. Он внес Лидию в свой кабинет и, тихо, бережно сложивши ее на турецкий диван, зажег лампу; ничто не изменяло неподвижному, беспечному спокойствию его физиономии, и лампа осветила перед Лидиею тот же прекрасный, величавый мужской образ. Она трепетала, как в лихорадке, бедная девочка, но глаза ее, облитые влагою, не могли оторваться от Званинцева.

Он взял маленький табурет и сел подле нее.

- Лидия, - начал он, гладя на своей руке ее маленькую руку, - вы сказали слово, которое должно решить навсегда вашу и мою участь. Слушайте же меня.

- Я вас слушаю, - шепнула она, тщетно силясь оторваться от него глазами.

- Воловская умерла, потому что она не могла жить, - сказал он твердо и грустно, - я ее любил, но и на нее даже смотрел я как на камень: выдержит обделку - хорошо, не выдержит - что делать!

Лидия провела рукою по лбу.

- Во всем и везде я хочу правды, - продолжал Званинцев с невозмутимым спокойствием, - любовь и женщина - самые лучшие вещи на свете, - это мой единственный интерес, потому что другим мне нечем заняться... но я не хочу никогда, чтобы раскаивались в любви ко мне... Для этого - я говорю вещи прямо и сам не терплю полупризнаний, полупреданности.

Лидия с ужасом закрыла лицо руками, вырвавши с усилием свои пальцы из рук Званинцева.

- Не бойтесь, Лидия, - сказал Званинцев улыбаясь, - не бойтесь, вы в безопасности до тех пор, пока сами не предались мне... Вы еще не в моей власти.

Лидия приподнялась и судорожно сжала руку Званинцева.

- Я вам сказал, - продолжал он, - что я отвезу вас к тетке!..

- Нет, нет, - сказала она с замирающим шепотом страсти, обвивая его шею и безумно-нежно смотря ему в глаза... - Я погибла, я навсегда погибла... но я от вас не отстану, я от тебя не отстану, мой милый... слышишь ли ты это?

И она в беспамятстве упала в его объятия.

Званинцев взял флакон eau de Cologne {одеколона (франц.).} и опрыскал ей лицо освежающею влагою... она снова пришла в себя, и снова пробудившееся чувство стыда заставило ее склониться лицом к подушке дивана.

- Повторяю вам, что я не хочу увлечения, - сказал ей Званинцев, - свободно, разумно должна предаваться женщина, если она хочет только быть равной мужчине.

- Вы меня не любите, - глухо рыдала Лидия.

- Я могу любить только равное себе, дитя мое, - отвечал Званинцев. - Вы увлечены теперь, я вам явился романтическим героем-избавителем, а что, если бы я сказал вам, что все это - только заранее подготовленная сцена?..

- Все равно, - вскричала девочка, - я люблю вас.

- Что я по крайней мере предвидел вашу судьбу и свою роль.

- Я люблю вас.

- Что я был уверен в том, что вы меня будете любить, с первой нашей встречи.

- Званинцев!..

- Что я сказал себе: она должна быть моей рабою.

Лидия быстро вскочила с дивана и стала перед ним бледная, трепещущая.

- Что я \_знаю\_ это, - продолжал Званинцев с бесконечною нежностью.

- Он меня любит! - вскричала девушка, падая к его ногам и скрывая свою голову на груди Званинцева.

- Да, я тебя люблю, мой светлый ангел, - сказал он, страстно сжимая ее в объятиях... - Я тебя люблю, потому что я тебя создал, - продолжал он, сажая ее снова на диван и склоняясь головой к ее коленам... - Ты видишь, я у ног твоих, ты видишь, я твой раб, моя сестра, моя подруга... Лидия, Лидия, - говорил он, увлекаясь все более, - путь мой кончен, эта минута - вечность, эта гордость, которой я теперь полон - целый мир, необъятный мир блаженства: я могу наконец, не стыдясь самого себя, обливать слезами твои руки, твои ноги, дитя мое, могу предаваться всем безумствам страсти... Мой ангел, моя подруга - еще раз скажи мне, что...

- Что я отрекаюсь от всего, - сказала Лидия страстным шепотом, - что в твоей любви целое небо, что иного я не хочу...

- На жизнь и на смерть, - сказал Званинцев, взявши ее руку напечатлевая поцелуй на ее устах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Читатели мои ждут, вероятно, кровавой развязки, - но, по долгу повествователя, я обязан сказать им, что о дуэли и в помине не было. Севского убедила его матушка, что все это случилось к его счастию.

О Званинцеве и Лидии нет ни слуху ни духу. Они уехали из Петербурга.

Севский где-то уже столоначальником.